

АЛЕКСАНДР
ПЛОТНИКОВ

МОЛЧАЛИВОЕ
МОРЕ





АЛЕКСАНДР
ПЛОТНИКОВ

МОЛЧАЛИВОЕ МОРЕ

ПОВЕСТЬ

Ордена Трудового Красного Знамени
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
Москва — 1974

Р2
П39

*Повесть удостоена премии
Министерства обороны СССР*

П $\frac{70302\text{-}211}{068(02)\text{-}74}$ 137-74



ГЛАВА 1

Человек сидит на чемоданах возле самого уреза воды. Волны хлюпают под щелястым настилом пирса, проплескиваются между досками, брызжут на туфли. Сидящий, кажется, не замечает этого. Он смотрит на другую сторону бухты, туда, где жмутся к причалам узкие и приплюснутые, как рыбины, подводные лодки. Которая-то из них его?

Уже больше часа человек терпеливо поджидает рейсовый катер, перебирая в памяти события последних недель.

Все началось с неожиданного вызова в отдел кадров. Едва лодка ошвартовалась к причалу, растерянного старпома сразу же усадили в кабину газика и отвезли к большому зеленому дому на набережной. Навстречу по мраморной лестнице спускались двое лейтенантов в топорщащихся кителях. Посторонившись, оба отдали старшему честь, а он, внезапно повеселев, подмигнул им и спросил:

— Получили назначение?

— Так точно, товарищ капитан третьего ранга! — бодро отрапортовал один.

— Напялись... — огорченно хмыкнул другой.

Капитан третьего ранга усмехнулся. Мысленно перенесся в свои зеленые лейтенантские времена. И в ту пору отсюда кто-то выходил с улыбкой до ушей, а кто-то, прикусив губу.

По лейтенантскому обычаю, он чуто́к постоял перед обитой коричневым дерматином дверью, плюнул через левое плечо.

— Костров? — спросил его один из кадровых «богов», невысокий, плотный каперанг со значком «За дальний поход» на тужурке. — Бери стул, присаживайся. Хотя разговор будет недолгим. Предлагаем тебя в командиры новейшей лодки. Согласен?..

— Куда же? — помедлив, спросил Костров.

— Ну какая тебе разница?! — громко хохотнул кадровик. — Ты же холостяк, с женой советоваться не будешь!

— Мне вовсе не безразлично, на каком флоте служить.

— Боишься, что разлучим тебя с океаном? — понимающе прищурился капитан первого ранга. — Напрасно! Флот наш теперь океанский, и, где бы ни базировалась твоя лодка, плавать придется на всех широтах!

Костров и сейчас невольно улыбается, вспоминая говорливого кадровика. Тот несколько раз поправлял рукой свой новенький значок, словно хотел подчеркнуть: мы, мол, тоже не лыком шиты. Повидали белый свет.

От долгого сидения затекли ноги. Костров подымается с чемодана, прохаживается взад-вперед по скрипучему настилу. С любопытством поглядывает на маленький городок, узкие улочки которого упрямо карабкаются в гору. А на самой макушке горы виднеются зеленые заплаты виноградников.

В детстве Кострову очень хотелось поглядеть, как растет виноград. Наверное, думал он, виноградные кисти висят на деревьях, вроде кедровых шишек. А кто-то из уличных приятелей доказывал, что виноград похож на хмель и так же обвивается вокруг шестов. И правда, откуда было знать про экзотические ягоды ребятишкам из таежного села, пробовавшим только изюм. А белым вином их отцы называли не марочный портвейн, а обыкновенную пшеничную водку.

Треск мотора прерывает его размышления. Через бухту бежит баркас, таща за собой белый шлейф воды. Вскоре он тычется шершавой скулой в причал.

— Мы за вами, товарищ капитан третьего ранга! — кричит Кострову баковый матрос. — Давайте я вещи приму...

Подхватив первый чемодан, удивленно крякает:

— Ого-го! Видать, вы в него кирпичей наклали?

— Ага. Книг, — коротко отвечает Костров.

На той стороне баркас встречает дежурный по соединению офицер. Проверив документы, вежливо козыряет прибывшему, объясняет, как найти штаб и офицерское общежитие, а сам украдкой приглядывается к новому командиру лодки: «Сколько же ему лет? Похоже, из молодых, да ранний... Ни морщинки, ни сединки».

Костров догадывается о его мыслях и в свою очередь замечает, что капитан-лейтенант далеко не молод. Для его лет чин более чем скромный. Что поделаешь: в армии основанием для продвижения по службе является не только возраст...

На пирсах пустынно. Возле лодочных сходен видны только часовые с автоматами на груди. Но Костров знает: там, внутри, в отсеках, людно. Разве что в редкие перекуры можно увидеть, сколько народу прячут в своих чревах эти, на первый взгляд небольшие, корабли.

В общежитии Костров попадает под начало комендантши, миловидной и улыбчивой украинки.

— Здравствуйте, мил человек... Как вас по батьке? Поселю я вас, Олесь Владимирович, в гарной комнате, — говорит она, мешая русские слова с украинскими. — Для доброго жильца ее берегла. Веселенькая: утречком солнышко, а писля тенечек!

С подкупающей непосредственностью Алена Григорьевна устраивает новому жильцу настоящий допрос.

— Взаправду жинки нема или шуткуете? — Она недоверчиво склоняет голову, потом неожиданно краснеет и суетливо поправляет лямку сарафана. — Тоже не беда! Неженатому слаще спится. Встал, поел — и никаких забот. Я вот сама третий год безмужней бабой живу...

Комната и впрямь отличная. В окно заглядывает небесная голубень, за подоконником плещется бухта.

— Располагайтесь, как дома, — нараспев говорит комендантша. — Небось не в командировку?

«Забавная тетка, — думает он, заметив, как женщина, кокетливо мотнув толстой косой, старательно семенит к двери. — Выходит, ты еще впечатляешь, старина!»

Проводив говорливую хозяйку, Костров толчком распахивает окно. Выгребает из кармана горсть мелочи и по старому морскому обычаю швыряет в воду. На счастье.

Потом принимается опорожнять чемоданы. Любовно протирает корешки книг, расставляя их на боковых полках просторного шифоньера. Вспоминает, как «подначивал» его кое-кто из прежних сослуживцев:

— Мастак ты, Сандро, запылить глаза вышестоящему начальству! Библиотеку завел, умным норовишь прослыть. А когда их читать, книги-то? Наше чтиво известное: полное собрание уставов. О, воин, службою живущий! Читай устав на сон грядущий! А утром, ото сна восстав, зубри усиленно устав!

В штабном кабинете с табличкой «Контр-адмирал Мирский» командира соединения не оказалось.

— Ищите их на кораблях, — почтительно называя адмирала на «вы», посоветовал Кострову мичман, распорядительный дежурный по штабу. — Они стул просиживать не любят...

Костров отправляется к причалам. Неторопливо идет по вырубленной в скалах дороге, поглядывает по сторонам. За бетонными столбиками ограждения берег круто обрывается вниз, туда, где колышется стиснутая утесами бухта. Вода в ней насквозь пронизана солнечными лучами, так что на дне видны мохнатые валуны. К скале птичьим гнездом прилепился домик рейдового поста, постанывает на ветру сигнальная мачта, гудят тугие капроновые фалы. Еще дальше дорога круто скатывается вниз и вливается в отвоеванную у моря узкую полосу земли, а точнее — бетона. Это причальная линия. От нее, словно зубья гребенки, вытянулись на воде заякоренные понтоны-пирсы.

Костров идет наугад к одному из пирсов, на котором мотает шеей портальный кран и кучками суетятся люди. Это в одну из подводных лодок загружают торпеды. Корма у нее притоплена, а в задранном носу, будто чудовищные ноздри, краснеют дыры торпедных аппаратов.

— Адмирал? Так точно, здесь, — отвечает на вопрос Кострова вахтенный.

Костров отходит в сторонку и долго ждет. Наконец из двери в ограждении лодочной рубки выбираются трое в офицерских пилотках и комбинезонах. Передний громко выговаривает идущим следом.

— Лепешкина возьмите под контроль... — слышит Костров обрывки фраз. — Пусть в трюмы почаще заглядывает...

«Он», — догадывается Костров и выступает навстречу сердитому начальнику.

— Товарищ адмирал, капитан третьего ранга Костров прибыл для дальнейшего...

— Хорошо, — прерывает его тот на полуслове и протягивает жесткую, пахнущую соляром руку. — Мирский. Когда приехали?

— Сегодня, товарищ адмирал.

— С жильем устроились?

— Так точно.

— Ну что ж, как только возвратится с моря ваша лодка, принимайте дела. Без вас мы времени даром не теряли. Дали вашему экипажу опытного вывозного командира. Так что не на голом месте будете начинать...

У адмирала Мирского колючий, пронизывающий взгляд, от которого Кострову становится не по себе, словно он уже в чем-то провинился. Коротко подстриженные седоватые усы над тонкой верхней губой придают адмиральскому лицу властное выражение.

— Вопросы ко мне есть? — спросил он. — Нет? Тогда занимайтесь по своему плану. У нас еще будет время познакомиться поближе...

Ночью возвращается в базу «тридцатка». Костров узнает об этом самым необычным образом. Около шести утра в его комнату без стука вваливается незнакомец. Он выглядит весьма забавно: ярко-рыжая шотландская бородка, веснушчатое лицо с веселыми голубыми глазами, на голове щетинится отливающий медью ежик. Все его одеяние — спортивные брюки и «динамовская» с полоской на груди майка.

— Я-то думал, ты нас букетом встретишь на стенке, а ты дрыхнешь, как сурок! — бесцеремонно орет он. — Поднимайся и кланяйся мне в ноги! Где тебя столько носило? Думаешь, мне нравится за двоих вкалывать? Нет, шалишь, бутылкой коньяка ты не отделаешься!

Так же внезапно, как и появился, он исчезает за дверью. «Что за шут гороховый», — удивленно думает Костров. Потом соображает, что это и есть вывозной командир его лодки.

Через полчаса Костров уже на причале. Его «тридцатка» резко отличается от своих соседок. Вся в мазках и оранжевых отметинах, она напоминает мезозойского ящера. Два человека в комбинезонах, с ведерками и ки

стями в руках, привстав на цыпочки, старательно пятнят рубку.

— Мичман Тятько, — представляется тот, что постарше. Он внимательно смотрит на Кострова из-под широченных сросшихся бровей. — С прибытием вас, товарищ командир!

— Откуда такая осведомленность? — вспыхнув, спрашивает Костров.

— Боцман, товарищ капитан третьего ранга, должен начальство носом чуять! Вы интересуетесь, где команда? Организованным порядком отправлена в баню.

— А вы почему остались?

— Организую наступление на ржу, товарищ командир. Она коли утром с клопа, то вечером будет, как ряса у попа. Дома побанюсь. Марыся, жинка моя, лучше трех дюжих хлопцев мне спину обработает! Разрешите продолжать, товарищ командир?

Костров кивает головой.

Никогда он не думал, что обычное казенное слово «командир» может так ласкать слух. Пряча свою радость, он торопится осмотреть лодку. Солнечный луч пляшет на фонаре отличительного огня, и кажется Кострову, что «тридцатка» подмигивает ему лукавым зеленым глазом.

ГЛАВА 2

«В жизни порой выпадают дни, настолько богатые событиями и впечатлениями, что трудно выделить главное. Вот и теперь у меня такая пора. Если подвести итог первой моей командирской недели, то получается любопытная картина:

а) С назначением мне как будто повезло. Командовать новейшей лодкой, к тому же головной в серии, честь немалая.

б) Экипаж моей «тридцатки» сплошь молодежный. Это тоже хорошо, будем учиться вместе.

в) Не думал, не гадал я, что здесь меня ожидает такой сюрприз. Старпомом у меня Юра Левченко. Меньше бы удивился, встретив его среди слушателей Академии Генштаба. Как мне вести себя с ним, просто ума не приложу...»

Костров отодвигает в сторону клеенчатую тетрадь, под-

нимается из-за стола. Уже далеко за полночь. В общежитии тихо, только за окном шуршит прибрежной галькой накат. Костров любит слушать эти размеренные вздохи моря. Они навевают хорошие воспоминания.

Мысли его возвращаются к прошедшему дню.

Костров спешил на подъем флага и невольно вздрогнул, когда за спиной тормознула машина.

— Сколько лет, сколько зим! — заставил его оглянуться чей-то пронзительный тенор. — Рад приветствовать старых однополчан!

Из кабины, сложившись пополам, выбирался сухопарый, узкоплечий майор.

— Мое почтение, дорогой! — стиснул он руку Кострова бугристой ладонью. — Костин, кажется?

— Костров.

— Ну конечно же Костров, старый я склеротик! Какими судьбами к нам?

— Военными, разумеется...

— Ишь какой стал! — Майор легонько хлопнул Кострова по плечу. — Погоны с двумя просветами... Дубье на козырьке... А давно ли был зеленым фендриком?.. Одного меня не балуют чинами: вторую пятилетку в майорах хожу... Старею, брат Костров, а для моей специальности резвость нужна.

— Физзарядкой надо заниматься, — натянуто пошутил Костров.

— У меня тут круглыми сутками физзарядка. Кручусь как белка в колесе. Автобазой командую. То резина, то бензин, то напился какой-нибудь сукин сын... Меня частенько в приказах склоняют. Ну, а ты здесь в каком качестве? Небось уже лодку получил?

— Получил!

— Везет же людям! — вздохнул майор, вытирая лоб большущим, как скатерть, платком. — Семью не перевез? Машина потребуется — звякни. Устрою все в лучшем виде... А ты мне за это когда-нибудь красочки подбросишь. Идет? — Он шутливо толкнул Кострова кулаком под бок и, кряхтя, полез обратно в кабину. Шофер, молодой парень с хитроватым прищуром серых глаз, нажал на стартер.

— Фамилию мою не забыл? Сиротинский я! — крикнул майор, когда машина тронулась. — Позванивай, не стесняйся!

Недоброе предчувствие заставило Кострова прибавить шагу. Так и есть! На лодке его уже ждали. Случилось непредвиденное: на «тридцатку» пожаловал сам командир соединения. Прибыл раненько, успел осмотреть корабль и теперь стоял на правом фланге строя. Взбегая по трапу, Костров поймал на себе его неодобрительный взгляд. Опустил голову: не станешь же оправдываться тем, что тебя задержали никчемным разговором. И он молча пристроился во второй шеренге в затылок адмиралу.

— Когда на корабле хороший старпом, командир может спать спокойно. Верно, капитан третьего ранга? — не оборачиваясь, вполголоса произносит Мирский.

— Виноват, товарищ адмирал, — так же тихо отвечает Костров.

— Виноватых бьют...

Сигнал горниста обрывает адмирала на полуслове.

— Так вот, командир, — после команды «Вольно» уже в полный голос продолжает Мирский. — Первую задачу будете отрабатывать в точке якорной стоянки. Готовность к выходу доложите завтра к исходу дня. Что касается моих замечаний по содержанию корабля — справьтесь у старшего помощника. Все ясно?

— Так точно, товарищ адмирал.

Проводив начальство положенным «смирно», Костров долго смотрит вслед адмиралу. «Ну вот, дорогой товарищ командир, — мысленно иронизирует он. — Кончился встречный марш, началась суровая проза буден». Не зря, видать, предупреждали его скептики, что «мандариновое» море — это не Тихий океан. Там, мол, и за борт лишний раз не плюнешь: отнесет ненароком на кого-нибудь из вышестоящих. Их там летом тьма-тьмущая греется на пляжах!

Вздохнув, Костров спускается с мостика в центральный отсек, напоследок больно ударившись коленом о перекладину трапа.

— Пригласите офицеров в кают-компанию, — говорит он вахтенному старшине.

Первым по его вызову является замполит, ярко выраженный кавказец с чисто русской фамилией — Столяров.

— Отчего загрустил наш командир? — улыбаясь, спрашивает капитан-лейтенант. — Наверно, приняли близко к сердцу адмиральскую овцу?

— Какую овцу? — недоуменно переспрашивает Костров.

— Шифрованно: очередную взбучку с ценными указаниями! — смеется Столяров, пощипывая крохотные усики под мясистым горбатым носом. Он постоянно трогает их пальцами, словно проверяет, на месте ли они.

«Тоже хорош гусь, — мысленно удивляется Костров.— Замполиту не мешало бы быть посерьезнее».

В люк протискивается командир ракетной боевой части капитан-лейтенант Болотников, которого все по старинке кличут комендором.

«Еще одно явление, — раздражается Костров. — Молодой мужик, а распустился до безобразия». Он уже знает, что Болотникова прозвали Слоновием Николаевичем за раннюю полноту и невозмутимый характер. По-настоящему его зовут Зиновием Николаевичем.

Чуть позже влетает вихрастый, с мальчишеским румянцем во всю щеку штурман старший лейтенант Кириллов. Последним приходит Левченко.

— Прошу извинить за опоздание. Был занят, — говорит он.

До сих пор Костров чувствует неловкость от первой встречи со своим однокашником.

— Юрка, чертяка! Неужели это ты? — искренне обрадовался он, тормоша друга в объятиях.— Я-то считал, что ты где-нибудь на Севере, на атомоходах...

— За Перекопом для меня кончается земля, — грустно усмехнулся Юрий.

— Неужто это ты — мой старпом? Я думал, просто однофамилец.

— Как видишь...

— Юрка, честное слово, я тут ни при чем! Если бы я знал!

— Не надо оправдываться, Саша. Если бы ты и знал, ничего бы не изменилось.

— Нет, честное слово...

— Какие будут приказания, товарищ командир? — вдруг перешел он на официальный тон, беря руку под козырек.

С тех пор даже один на один с Костровым он разговаривает подчеркнуто официально: «есть, товарищ командир», «разрешите, товарищ капитан третьего ранга?»...

И у Кострова теперь язык не поворачивается, чтобы сказать старому другу «ты».

— Все слышали указание командира соединения? — вопросом начал совещание Костров.— Оно больше относится к вам, чем ко мне. Корабля я еще не знаю и не представляю, успеют ли все боевые части подготовиться к сроку...

Вечером Костров уносит к себе в общежитие послужные карточки своих матросов и старшин. Раскладывает стопками на столе по боевым частям и службам, штудирует анкеты и внимательно читает автобиографии.

О многом говорят Кострову тонюсенькие картонные папочки. Молодым лейтенантом застал он еще время, когда матрос с семилеткой за плечами вовсе не был редкостью на корабле. Особенно в электромеханической боевой части. Тех, кто в ней служил, так и называли «черной костью». Корабельная «интеллигенция» — радисты, радиометристы, акустики — поглядывала на «мотылей» свысока. А теперь? Эка невидаль: среднее образование! Нынче и ромбиком на форменке никого не удивишь. С каждым годом грамотнее становится народ. Каким же образованным должен быть теперь офицер, чтобы не потерять уважение своих подчиненных!

И еще одно, уже грустное наблюдение делает Костров. В некоторых матросских автобиографиях ни полсловечка про отца, хотя год рождения уже послевоенный. Но Костров понимает, что виной этому все-таки война. Их матери овдовели еще в невестах, а потом носили детей случая под истосковавшимся по мужской ласке сердцем...

Стук в дверь прерывает его размышления.

— Мэй ай кам ин — разреши ворваться? — Вывозной командир капитан второго ранга Камеев останавливается возле порога и в наигранном удивлении всплескивает руками: — Ну и ну! Вечерний университет на дому! Ты, брат, взялся за дело не на шутку. Но и я шутить не люблю. Собирайся, и пошли...

Резким движением он выдергивает стул, и Костров оказывается на полу.

— Куда пошли? Зачем? — недоумевает он.

— Ты приглашен в гости.

— К кому?

— Ко мне, разумеется...

— Но...

— Никаких «но»! Жена повелела доставить тебя жи-

вым и голодным! Ты знаешь, что такое жена? Тогда собирайся молчком.

— Но, Вячеслав Георгиевич... — взмолился Костров.

— Для тебя я просто Слава. И не сиди ты посередь пола, как китайский богдыхан! Не заставляй мою Лидуху нервничать.

Камеевы живут на втором этаже большого дома, занимающего целый квартал и похожего в плане на разрезанную подкову. В городке его называют циркульным домом.

Уже на лестничной площадке слышен звук пианино и высокий женский голос, напевающий какую-то арию.

— Моя музицирует, — невольно улыбается Камеев.— Жена, принимай гостей! — кричит он из прихожей.

Шурша нейлоном, появляется высокая, чуть располневшая женщина.

— Проходите, пожалуйста! — говорит она, делая приветливый жест. — Да не трите так усердно ноги — ковров мы не держим!

— Рекомендую моего товарища и сослуживца Александра Владимировича Кострова, — церемонно представляет ей гостя Камеев. — Это по его милости мне и в ремонте не пришлось отдохнуть. Но ничего, у него еще будет возможность искупить свою вину!

— Лидия Дмитриевна, — подает руку хозяйка, переждав мужнину тираду.

Выглядит она очень молодо, и только потом, в гостиной, Костров замечает тщательно запудренную сетку морщинок возле ее глаз. Вопреки своей комплекции, Лидия Дмитриевна оказывается очень проворной. Неслышно ступая по паркету, она мигом накрывает стол.

Камеев ест неторопливо, с аппетитом, и подмигивает сотрапезнику: смотри, мол, что такое семейная жизнь! В столовой тебе таких расстегаев не подадут! От первых же рюмок коньяка его основательно развозит, на побледневшем лице коричневыми крапинками проступают веснушки.

Кострова, как обычно, хмель не берет. Разрезая на кусочки аппетитный лангет, он украдкой посматривает на улыбающуюся хозяйку. Совсем без зависти, словно думая о чем-то отвлеченном, представляет на ее месте Ольгу...

— Послушай, жена, — глуповато ухмыляясь, говорит Камеев. — Окажи человечеству услугу, подыщи ты этому

старому ловеласу невесту. Довольно ему нервировать сослуживцев!

— Твоим нервам, положим, ничего не грозит, — с усмешкой отвечает Камеева. — Я не собираюсь конкурировать с лейтенантшами... Мой-то совсем хорош, — говорит она Кострову. — А у вас ни в одном глазу, ни хмелинки!

Она берет бутылку и наливает коньяку ему в фужер.

— Что вы! — шутливо ужасается Костров. — Такими дозами вы быстро спровадите меня под стол...

— Придется пожалеть вас, — насмешливо прищуривается Камеева и отливает из фужера в свою рюмку. — Давайте выпьем за нашего Сергея. Он сейчас сдает сессию за третий курс... Скажите, — продолжает она, прожевав ломтик сыра, — неужели вам никогда не хотелось иметь сына?

Любопытных хватает и среди мужчин, но только женское любопытство способно затронуть самое больное.

— Я был у мамы единственным сыном, — невесело отшучивается Костров. — Все боялся привести плохую сноху, пока не вышел в тираж.

— А вернее всего, вы типичный эгоист, лишних забот боитесь, вот и живете современным Печориным... Впрочем, — неожиданно смягчается Камеева, — многим такие мужчины нравятся. Ведь мы, женщины, в душе все княжны Мери...

Часов в одиннадцать Костров прощается. Пустынными улицами выходит к набережной. Безветренно. Каштаны на берегу застыли, будто театральные декорации. В дегтярно-черной воде вздрагивают тусклые отражения уличных фонарей. Темными провалами окон смотрят на редких прохожих дома. Городок рано ложится спать. Зато на противоположной стороне бухты гулко стучат дизели зарядовой станции, моргают автомобильные фары. Как обычно, там кто-то бодрствует.

Костров — единственный пассажир рейсового баркаса, команда которого ходит с заспанными глазами (видать, сумели прикорнуть в перерывах между рейсами). Но Кострову не хочется спать. Добравшись до общежития, он включает настольную лампу и достает из шкафа потертую клеенчатую тетрадь, подругу его одиноких вечеров.

Его записки нельзя назвать дневником. Он делает их под настроение, от случая к случаю, перемежая день нынешний с днем минувшим, с черновиками стихов и други-

ми набросками, понятными лишь ему одному. В трудные дни его жизни возникла эта потребность доверить свои мысли бумаге, а с годами стала неистребимой привычкой. Изредка перечитывая тетрадь, он чувствует несравнимое ни с чем волнение, словно получил командировку в собственную юность...

Из записок Кострова

Когда-то, не знаю, давно ли,
Пешком обойдя полземли,
Искать заплутавшую долю
Сюда мои предки пришли.
Впервые лесную сторонку
Тропил человеческий след,
Кукушка-насмешница звонко
Сулила им множество лет.
Тревожно шумели березы,
Шептался камыш у реки,
И молча счастливые слезы
Утерли полой мужики.
Потом, поплевав на ладони,
Взялись за свои топоры...
А может, не так — кто упомнит? -
Возникло селенье Костры.

Село наше расположено на крутояре по-над овражистой таежной речкой Быстрянкой. Большинство изб — высокие, островерхие, с резными наличниками. Поэтому и зовут их на городской манер — домами. Иному дому уже за сотню лет перевалило, но не осели, не выпучились могучие бревна, лишь ошелушились, почернели венцы, да во мшистых пазах вырос гриб-трутовик. А все потому, что срублены дома сплошь из кедра да лиственницы, которым на сухом месте нет износу.

Еще одна любопытная замета: есть в нашем селе две главные фамилии. На правобережной стороне живут сплошь все Лапины, а напротив — Костровы. Имеются, конечно, и другие фамилии, но среди первых двух они теряются, как запятые на книжной странице. Старики сказывают, что испокон веку Костровы славились женихами, а Лапины — невестами. Роднились, разумеется, и наоборот, да и куда было деваться, если, кроме соседней деревушки Кудрино, на сотни верст человеческого жилья не сыщешь.

Кудрино и то появилось во время столыпинской реформы. Народ в нем собрался разноплеменный, без креп-

кого таежного корня, оттого и нечасто заглядывали на кудринские подворья костровские сваты.

Это у меня вроде краткой исторической справки, а в мои годы Кудрино стало райцентром, с клубом, магазином и средней школой. У нас в Кострах школа была только начальная, но зато учил в ней ребят Родион Семенович Суровцев! Приехал он из столицы к нам, в таежную глушь, и порешил остаться тут навсегда. По первости косились на него сельчане, но когда взял он в руки литовку и вилы — подобрели душой. Пот, что вместе пролит, без попа породнит — толкует давнишняя пословица.

Все четыре класса Родион Семенович разбил на две смены: поутру третий с первым, с полудня четвертый со вторым. Чтобы мыкаться поменьше, садил каждую смену в общей комнате: по правую руку младшие, по левую — старшие. Попеременно занимался с каждым рядом. Пока растолковывал правила одним, другие занимались самостоятельно.

Я был первоклассником. Учеба давалась мне легко. Управившись со своими заданиями, я вострил уши и слушал, что говорит учитель на старшей стороне. Так продолжалось до самой весны, пока однажды третьеклассники не споткнулись на арифметической задачке и никак не могли ее решить.

— Неужто нет ни единого грамотея? — спросил Родион Семенович. — Прискорбно, дорогие мои, прискорбно!

Третьеклашки пристыженно шмыгали носами.

— Я решил, Родион Семенович! — дернуло меня за язык.

— Кто это «я»? — удивленно повернулся учитель, приподымая пальцем дужку очков.

— Санька Костров.

— Ты? Ну-ка покажи, голубчик, свою тетрадку... Разве тебе это было задано? — строго глянул он на меня.

— Я ж успел и свое, и ихнее, — смущенно заерзал я.

— Так... Так... Ну-ну... — бормотал учитель, листая мою закляксанную тетрадь. — Пишешь ты, Саня, прескверно, да-да, прескверно... Однако задачи решать умеешь. Вот что, зайдешь ко мне сегодня вечером! А теперь замри и не мешай другим...

Жил Родион Семенович при школе, в тесной каморке, которая одновременно числилась и учительской. В школьной избе были еще две просторные комнаты, но учитель

велел разобрать простенок между ними, и получился спортзал. Правда, стояли в нем всего-навсего турник да ошкуренное бревно с громким названием «бум», но физкультура у нас бывала регулярно, дважды в неделю.

Родион Семенович угостил меня чаем, стал расспрашивать о прочитанных книгах, о друзьях-приятелях и между делом задал несколько вопросов из программы третьего класса.

— Значит, так, Саня, — сказал он, провожая меня до крыльца. — На правой стороне тебе, друг мой, делать нечего.

И на следующий день пересадил меня к третьеклассникам.

После, когда в Кострах открыли школу-семилетку, Родион Семенович стал вести русский язык и литературу, и самым прилежным его учеником был я. Нередко я засиживался дотемна в его комнатке. Уже шла война, машиниста локомобиля забрали на фронт, а заменившая его Груня Лапина в первые же холода разморозила старенькую машину, оставив село без электричества. Потому на столе у Родиона Семеновича чадила керосиновая лампа. Язычки пламени отражались в стеклах учителевых очков, а он, держа на отлете раскрытую книгу, читал мне глуховатым баском:

«Село, значит, ваше — Радово,
Дворов, почитай, два ста.
Тому, кто его оглядывал,
Приятственны наши места.
Богаты мы лесом и водью,
Есть пастбища, есть поля,
И по всему угодью
Рассажены тополя...»

— Вроде как про наши Костры писано! — поражался я. — Это не вы сочинили, Родион Семеныч?

— Увы, друг мой, я не поэт, — вздыхал учитель. — Поэма сия принадлежит перу Сергея Александровича Есенина. Был на Руси такой светлый талант.

— Ага, я знаю! — торопился я блеснуть эрудицией.— Это тот самый, который кулацкий подпевала!

Учитель положил книгу, ласково взъерошил мой вихор.

— Нет, мой мальчик... Сергей Есенин был орга́ном души русской... Орга́н — это такой инструмент, который

один играет за целый оркестр, — пояснил Родион Семенович, заметив мой недоуменный взгляд. — Когда-нибудь мы, Саня, будем гордиться тем, что такой поэт жил на одной с нами земле.

— Я же не выдумал, Родион Семеныч! Чес-слово, в литературе для восьмого класса прочел. Не верите?

— Яд, влитый отроку, отравит кровь мужчины... — задумчиво произнес учитель, вставая из-за стола.

— Чего? — опять не сообразил я.

— Цитирую древних, друг мой, — ответил он. Не спеша прошелся по комнате и снова подсел к лампе, поправив сваливающиеся с переносицы очки. — Я тебе верю, мальчик, но книги пишут люди, и бывает, что они ошибаются... Хочешь, я тебе еще почитаю Сергея Есенина?

Родион Семенович допустил меня к своей святая святых — небольшой, но любовно подобранной библиотеке. Я читал все подряд, пока не наткнулся на Александра Грина. Его романы потрясли мое воображение романтикой штормов и дальних плаваний. Следующие книги о море — «Пятнадцатилетнего капитана» Жюля Верна и «Цусиму» Новикова-Прибоя я проглотил в один присест. Тайфуны и пассаты, броненосцы и каравеллы заполонили мою голову. С замиранием сердца прислушивался я теперь к далеким пароходным гудкам, которые тихими летними зорями доносились иногда с Оби, протекавшей в пятнадцати верстах от Костров. Наверное, слышал их я один-единственный во всем селе.

Родион Семенович Суровцев умер в первую послевоенную осень. За гробом шли стар и млад, и каждый бросил горстку земли на его могилу. Так прощаются с близкими людьми.

Мне шел тринадцатый год, и я тогда не почувствовал всей горечи утраты. Только повзрослев, оценил я по-настоящему роль первого учителя в своей судьбе.

ГЛАВА 3

«Сделал неприятное открытие: меня откровенно недолюбливают за то, что перешел дорогу Юрию Левченко. Оказывается, это его представляли на командира «тридцатки», но все переиначили в главном управлении кадров. Хотел бы я видеть того кадровика, который это со-

творил! Я проникся еще большим уважением к своему старпому, когда узнал о его беде. Оказывается, его единственного сына жестоко искалечил полиомиелит, и мать теперь живет одной исступленной мечтой об исцелении сына. Каждое лето она возит малыша в специализированный санаторий, а зимой мечется от одного медицинского светила к другому...»

Вторую неделю «тридцатка» крутится на якорной цепи у самой кромки внешнего рейда. Входных створов бухты отсюда не видать, и кажется, что сошлись прибрежные скалы, накрепко заперев ее узкое горло. Не так ли возникали старинные морские легенды про сшибающиеся лбами утесы, которые губят заблудшие корабли?

Невдалеке причудливой дугой выгнулась прибрежная полоса земли, которая в сумерках приближается настолько, что явственно слышны ребячьи выкрики и взбрехиванье собак, а днем снова отдаляется на приличное расстояние.

Слева на горбатой горе тянет к небу замшелые, выкрошившиеся зубцы старинная башня. Удивительно прочна ее кладка: в сорок первом угодил в нее крупнокалиберный снаряд, но проделал лишь новую бойницу... Правее башни — приметный мыс. Он и впрямь похож на прилегшую вздремнуть женщину. Склонилась набок голова в пышных локонах туй, чуть колышется высокая грудь (лишенные воображения люди говорят, что это ветер колышет кустарники). Красивое зрелище, только некогда им любоваться. День и ночь голосят в отсеках лодки сигнальные ревуны, не давая экипажу покоя. Беспощадное июньское солнце, как сковороду, разогревает надстройку, в отсеках духота — хоть каждый час робу выжимай... Но суточный план не отводит для этого времени. Даже спят на «тридцатке» сторожким сном: тронь за плечо любого матроса — и его как ветром сдует с койки.

Дирижером всей это коловерти является старший помощник командира. У Юрия Левченко набрякли мешки под глазами, сипит — сорвал голос возле микрофона боевой трансляции. Кострову нравится неуемная энергия старшего помощника, лишь в глубине его души таится сомнение: не получается ли так, что он, командир, остался вроде бы не у дел? По утрам вахтенные офицеры докладывают ему корабельную нагрузку, торжественно встречают на мостике, ждут положенные пять минут в

кают-компании. А суточное планирование боевой подготовки целиком перешло в руки старпома, если не считать командирской росписи в левом верхнем углу форменного бланка. Только сомнения сомнениями, а корабельные дела идут неплохо.

На берегу про «тридцатку» не забывают. Частенько слышно над рейдом татаканье баркасных движков — это спешат на лодку работники штаба. Иногда это флагманские специалисты, чаще — инструкторы учебных кабинетов. У последних чины невелики, зато хватка крепкая. От напористого мичмана неполадки под килем не спрячешь. Приняв стойку «смирно», он выложит командиру такую уйму замечаний, будто за день сумел перевернуть корабль вверх дном...

Вот и опять на крутой зыби приплясывает очередной баркас.

— Снова начальство идет, товарищ командир! — докладывает Кострову сигнальщик.

Костров не одергивает матроса за вольность. Понимает, что нервируют экипаж зачастившие гости. Но на этот раз тревога оказывается напрасной. Баркас доставил на лодку свежую почту.

Спустя час офицеры собираются за обеденным столом. В отсеке жара. Только что зарядили аккумуляторную батарею, и температура подскочила к сорока градусам. Липнет к лопаткам грубоватая ткань рубах. Многие с содроганием смотрят на дымящуюся суповницу, предпочитая увидеть вместо желтых кружков навара кусочки льда. Но нельзя же ежедневно делать окрошку...

Ждут командира. Пять минут истекло, а его все нет. Офицеры вопросительно поглядывают на Левченко, но тот молча пожимает плечами. Наконец появляется Костров.

— Почему не едите? — удивляется он. — Неужто ждете мою персону? Напрасная затея... И все при параде, как на приеме у королевы Елизаветы... Ну-ка, смокинги долой, и полотенца на шею!

Все охотно выполняют его команду. А на губах у Левченко теплится едва заметная улыбка.

Когда тарелки пустеют, Костров затевает послеобеденный разговор.

— Послушайте, Николай Артемьевич, — обращается он к замполиту. — Чего это наши комсомольцы мохом ста-

ли обрастать? Или открыли на лодке филиал соловецкого монастыря?

— Объявили конкурс на две лучшие бороды, товарищ командир, — отвечает Столяров. — Вернемся в базу, и они поднимут флаг с гюйсом.

— Ну и ну, — говорит Костров. — Это что, у вас на Черном море такая форма соревнования?

— Если честно, товарищ командир, — сознается Столяров, — очень устает народ, не хватает времени побриться.

Костров вспоминает вторжение в офицерское общежитие бородатого Камеева, потом проводит ладонью по чисто выбритому подбородку.

— Я попрошу вас, старпом, проверить, во всех ли отсеках исправны электробритвы, — говорит он Левченко.

— Есть,— коротко отвечает тот.

«Бя-бя-бя-я-я!» — голосит прямо над ухом командира горластый ревун. Не счесть снов, которые не дал он досмотреть морякам, и за это прозвали его душегубом.

Вместе с Левченко Костров обходит лодочные отсеки. В приборном посту темно. Лучи аварийных фонарей выхватывают из темноты носатые маски противогазов.

— Проводится тренировка по борьбе за живучесть! — докладывает вошедшим капитан-лейтенант Болотников.

Комендор выдал своему расчету множество вводных: сделал «пробоину», «вывел из строя» электрическое освещение, а в довершение всего объявил химическую тревогу. Для «пробоины» он выбрал тесный закуток между шахтами пусковых установок. Теперь оттуда слышен редкий стук кувалды и торопливый шепот:

— Осторожнее, по рукам не вдарь... Направляй точнее...

Наконец зажигается свет. Прибористы выбираются из трюма, стягивают с потных, побагровевших лиц противогазы. Костров смотрит на часы — обычный норматив заделки пробоины перекрыт почти вдвое. Вот тебе и Слоновий Николаевич!

Довольная улыбка раздвигает толстые губы Болотникова.

— Разрешите, товарищ командир? — негромко говорит Левченко. — Дайте мне переноску, — просит он у комендора.

Затем опускается на колено. Просунув другую ногу в трюм, бьет сапогом по деревянному брусу, которым подперта войлочная подушка на «пробоине». После нескольких ударов брус подается и укупорочные клинья дробно сыплются на дно трюма.

Болотников, хмурясь, наблюдает за действиями старшего помощника.

— Прочнее не заделаешь, — оправдывается он. — Место здесь неудобное. Домкрат не помещается, брусья тоже великоваты...

— Отпиливайте лишнее и подгоняйте по месту, — отвечает Левченко. — Норматив вам не засчитывается. Отрабатывайте все сначала.

— Есть... Понял... — угрюмо отвечает комендор.

— А ведь парень взаправду старался удивить начальство, — говорит Костров, когда они покидают приборный отсек. — Может, зря ты его отчитал, Юрий Сергеевич?..

Из записок Кострова

Мне исполнилось восемь лет, когда далеко на западе началась война. Помню, как все село бежало к правлению, а потом, сгрудившись вокруг столба с репродуктором, слушали костровцы речь Народного комиссара иностранных дел. После долго не расходились по домам. Матюкались, огорошенные страшной вестью, мужики. Чуя вдовью долю, сморкались в косицы платков расстроенные бабы. Только мы, пацанва, радовались, ожидая чего-то необычного, героического, и сговаривались всей каголой удрать на фронт.

А на селе все оставалось прежним. Каждое утро орали на плетнях драчливые петухи, возле колодезных журавлей бренькали ведрами хлопотливые хозяйки, с гиком носились по улицам, загребая пыль босыми ногами, мы — ребятишки.

Зато непривычно тихими стали деревенские вечера. Не взметнется возле окон озорная частушка, не услышишь возле кооперативного ларька запозистой пьяной похвальбы. И не верилось, что надолго ушли молодые костровские мужики. Я все ждал, когда стукнет наша калитка и раздастся во дворе веселый отцовский смех. Ведь, уезжая на районный призывной пункт, он приласкал маму и сказал:

— Утри нюни, Настасья. Всей Расеей мы враз расколотим гитлеряку. Может, еще к уборочной домой возвернемся.

Но подошел сентябрь, и на пажить вышли бабы со стариками да голенастые подростки. Потом скрылась под снегом стерня, а война все не кончалась. Разве мог я угадать детским своим умом, что продлится она еще целых четыре года?!

Позже я узнал, что все это время страна сидела на голодном пайке. Мы же не испытывали настоящей нужды. Нашим кормильцем и поильцем был лес. Уйма в нем грибов и ягод — не ленись, собирай. А куропатки и зайцы дуриком лезли в силки из балалаечных струн. Земли в костровских огородах было сколько хочешь, картошку сыпали в погреба без счета. Не хватало лишь соли и спичек, но приучились обходиться без них.

Только достала и нашу таежную даль война. По первопутку привезли домой Филиппа Лапина, знатного охотника-медвежатника, не единожды сходившегося сила на силу с бурым хозяином тайги. А теперь привезли его колченогим, ссадили на руках с грузовика, как малого дитятю.

Все село побывало на лапинском подворье. Старики молча тянули с голов треухи, а солдатки принимались голосить, жалея пропащую Филиппову красоту. Инвалид сидел насупясь, пряча под рядном культышки ног. И только когда доняли его расспросами — зачем отступает Красная Армия, пошто отдает ломоть за ломтем Белоруссию, Украину, Псковщину, — зло прохрипел:

— Танков у него — бяда! Самолетов — бяда! Куда там... — И отрешенно махнул рукой.

А в феврале сорок второго почтарь принес горе в наш дом.

— Извиняй меня, Настасьюшка,— прошептал дед, протягивая маме похоронку.

Шуршала о стену избы поземка, выл на чердаке зимовик; мы сидели возле окна, не зажигая огня. Я ревел во всю дурнинушку, а мама — та не всплакнула даже. Утирая слезы, я обидчиво косился на нее, а назавтра увидел, что стало с нею за одну ночь. Будто в муке обваляли ей голову.

Не хотел я верить казенной бумажке и всю войну ждал письма от отца. Когда стали носить за него пенсию,

я все боялся: придет отец домой и заставят нас возвращать эти деньги обратно.

Потом, когда закончилась война, а я повзрослел и убедился в непоправимости потери, я позавидовал соседской девчонке Ольке Лапиной, у которой вовсе не было отца. Не надо было ей отвыкать от его грубоватых ласк, щетинистых щек и пропахших махоркой усов.

Изба Лапиных стояла в нашем же проулке, даже колодец был общим на два двора. Только мама не дружила с теткой Акулиной.

— Ясное дело, — посмеивалась Олькина матушка. — С каких статей Настюхе меня жаловать? Довольно с меня того, что ее Володька жаловал! Оттого и злобится... Сама виновата. Не знала, чем мужика возле подола держать. Чересчур покорной была, а мужиков-то больше к бедовым тянет...

Сама тетка Акулина с легким сердцем сходилась и расходилась с хахалями. Кто-то из них оставил ей на память Ольку, а после войны с заблудшим солдатом прижила она еще и сына Геньку.

— Пущай кукует себе, — прослышав про соседкины байки, отмахивалась от сплетен мама. — Чего возьмешь с кукушки пустоголовой? Она с девок такая: кто глянул в очи, того и под крыло...

Только зря трепала Акулина про моего батяню. Любил он выпить с дружками, но маму не обижал. Хмельной, молча ложился на лавку, а проспавшись, грабастал маму в охапку и лялькал во дворе на виду у всего села. А она, смеясь, отбивалась от его поцелуев.

Мама не запрещала мне водиться с Олькой Лапиной, зато тетка Акулина терпеть меня не могла. Даже наградила меня обидным прозвищем «тюфтяй губатый». Частенько слышал я за соседским плетнем плач своей босоногой товарки и злорадную приговорку ее матери:

— Не водись с «тюфтяем»! Не водись с «тюфтяем»!

Подружки чурались Ольки. Не умели они играть в мальчишечьи Ольгины игры и боялись ее кулаков. Даже пацанам доводилось пробовать ее затрещин. Платьев Ольга не носила. Летом она моталась в коротких трусишках, а зимой напяливала ватные штаны стеганки. Оттого, верно, мы, мальчишки, совсем ее не стеснялись, да и она порой с интересом глазела на то, кто из нас дальше пу-

стит свою струю. Пожалуй, это было единственное, чего Ольга не могла.

Соседи выговаривали Акулине за потоптанные грядки и разбитые окна, и она жестоко драла дочь за космы, запирала на целые дни в овечьем пригоне. В отместку матери Ольга ножницами откромсала свои косы, а в лопухах за пригоном мы прокопали лаз, через который она удирала на свободу.

— Какая скорлупка, таково и ядрышко, — судачили богомольные деревенские старухи, смотря на торчащие космы и поцарапанные ноги отчаянной девчонки. — Сызмальства, видать, играет в ней матернина кровушка!

Зато в нашем доме привечали Ольгу. Мама часто зазывала ее в горницу, потчевала шаньгами и пирожками с маком.

— Знаю небось, чего она моей Ольгушке в глаза заглядывает, — насмехалась тетка Акулина. — Пытает, не Володькина ли порода. Зря мается, у меня таких, как он, боле, чем проса в метелке, перебывало! Пожила я весело, зато помирать не страшно будет!

Я был всего на год старше Ольги, но в школе обогнал ее на целых три класса. Поэтому нередко помогал подружке решать трудные задачки по математике и физике. Как и многие девчонки, она не очень петрила в точных науках.

С годами Ольга переменилась, опять отрастила косы, приобыкла к платьям. Только подруг так и не заимела. Ее одноклассницы менялись лентами для кос, учились тайком танцевать, а Ольга шастала с парнями: летом — по болотам зорить утиные гнезда, зимой — ставить петли на лесных заячьих тропах.

Вроде ничего особенного в ней не было: девчонка как девчонка... Но я издалека узнавал ее по размашистой походке, и сразу щемило в груди.

Дружки подметили, что со мной творится неладное, и кто-то из них окрестил меня «Акулькиным зятем».

ГЛАВА 4

«За десять офицерских лет перевидел я немало политработников. Мысленно я делю их на две категории. Одни стараются быть гвоздем в каждой доске, встревают во все

дела, стремясь показать свою разносторонность, любят подчеркнуть свои дисциплинарные права. Другие держатся чуточку в тени, не поучают, не одергивают, зато любым словом, сказанным как бы невзначай, советом или даже шутливой подначкой проводят свою комиссарскую линию. Мне больше по душе вторые, идеалом их я считаю комиссара Клычкова из фурмановского «Чапаева». Кажется мне, что и мой замполит из этой же категории...»

Накануне приема курсовой задачи отсеки «тридцатки» вылизали изнутри, как яичную скорлупу. Боцман Тятько побывал на берегу, привез ковровые дорожки в жилые отсеки и скатерть с бахромой на стол офицерской кают-компании.

— Ну як, Петро? Гарний зробил уют? — похвастался боцман перед своим другом, электриком Гайнутдиновым. Но тот не оценил боцманских стараний.

— Форсом занимаешься, куркуль черниговский? — взъерепенился электрик. — А помнишь, я у тебя коврик в моторный отсек клянчил? Чего ты мне тогда сказал? На складе немае? Вижу теперь, какое твое «немае»!

Только боцмана не просто «взять на абордаж».

— Ну чего ты гавкаешь на меня, фарфоровая твоя башка? Правду я говорил, нема у меня лишних дорожек. А эти я для начальства держу. Оно красоту любит, а нашему брату треба начальство уважать. Для пользы общему делу. Так-ти-ка!

Задачу приняли без сучка и задоринки. Возглавлял комиссию начальник штаба, веселый и покладистый человек. Кострова даже раздосадовал скоротечный штабной налет. Стоило из-за этих двух часов полтора месяца не давать роздыха личному составу! День спустя «тридцатка» ошвартовалась возле базового причала.

— Здесь всегда так шустро принимают задачи? — поинтересовался Костров у Камеева.

— Ну да! — многозначительно хмыкнул тот. — Тебе просто подфартило, что другие за тебя несколько месяцев горбили! Я-то разве на прогулки с твоим экипажем ходил?

Они стоят в курительной комнате штаба, где сгрудились прибывшие на совещание командиры лодок и начальники служб береговой базы. Офицеры дымят сигаретами и обмениваются «подначками».

— Ну как, Пал Исакович, вазелинчику захватил? —

подмигивает приятелям Камеев, обращаясь к начальнику автобазы майору Сиротинскому. — Говорят, ты недавно большое начальство на охоту возил и кабана не с той стороны выгнал!

— Вас, товарищ капитан второго ранга, разок-другой на загон поставить не мешало бы, — возвращает «подначку» майор. — Жирок бы подрастрясли. И никакого риску: кабан до ваших кишок не скоро доберется...

Громкий смех сопровождает их перепалку.

— Смотря кого ты, Пал Исакович, в кабанью шкуру обрядишь,— не сдается Камеев.— Ежели самолично кабана изобразишь, то мне бояться нечего: клыки у тебя давно выпали!

И опять заливистое ха-ха-ха!

— Вы другим в зубы не заглядывайте, свои поберегите, — отбивается Сиротинский. — Где не надо, вы шустры, а с разгильдяями совладать не можете. Под любыми предлогами на бербазу списываете.

— Ты о чем это, Пал Исакович? — разыгрывает удивление Камеев. — В чей огород камушек бросаешь?

— Повадки у вас, командиров, у всех одинаковые. Прислали мне на днях матросика, с лодки списанного. Назначил его хлеборезом в столовую, а он мне заявляет: «Меня бы от ножей подальше, товарищ майор. Характер у меня скверный». Хорош гусь, а? Подсуропить бы вам парочку таких, товарищ капитан второго ранга Камеев, небось через полгода в запас попроситесь. А я семнадцать лет такими кадрами руковожу! Товарищ Костров должен помнить шофера Демина с моей кинобазы. Матрос тот на все Охотское побережье прославился. Гауптвахту, как родной дом, обжил... Помните этого шофера, товарищ Костров?

Костров кивает головой, а сам мучительно вспоминает. Нет, не лицо матроса Демина. Он не забыл этого здоровенного парня, в одиночку ворочавшего бочки с бензином. Кострову кажется, что он недавно слышал о Демине... Наконец он вспоминает.

— А знаете, товарищ майор,— говорит он Сиротинскому. — Демин-то ваш известным человеком стал. Орденоносец, знатный механизатор целинного края!

— Демин?! Не может быть! Наверно, однофамилец. Мало ли Дeминых на свете?

— Нет, именно тот. Ваш, кинобазовский. Не верите —

разыщите подшивку «Известий» за шестьдесят пятый год. Там он на фото во весь рост возле комбайна. А под снимком интервью с корреспондентом. Все сходится...

Сиротинский удивленно мотает головой: «ну и ну!» Потом преспокойно заявляет:

— Выходит, я не зря ему характер ломал. Смотришь, и человек из него получился!

Совещание открывает сам командир соединения. На нем отглаженная форменная рубаха, подернутые сединой усы тщательно подстрижены, а длинная прядь волос хитро уложена со лба на затылок, маскируя проплешину. Мирский всегда аккуратен, перед его кабинетом даже закоренелые неряхи чистят обувь носовыми платками.

— Разрешите присутствовать, товарищ адмирал? — прерывает комдива какой-то опоздавший бедолага.

— Не разрешаю. Я вас приглашал к девяти. Сейчас девять ноль три, — бросает в сторону двери Мирский.

Слушая негромкую, но отчетливую речь адмирала, Костров думает о том, что не приведи судьба попасть в немилость к этому педантичному человеку.

— Слушай, Владимирыч, — говорит Кострову Камеев, когда они вместе возвращаются после совещания, — моя Лидуха зуб на тебя имеет. Почему носа к нам не кажешь?

— Некогда, Вячеслав Георгиевич. Сами видите, днюю и ночую на корабле.

— Хочу я тебе совет дать, Владимирыч: усердие ты показывай, но лба не расшибай.

— Лоб у меня крепкий...

— Треснет, коли стенку прошибать станешь...

Они идут мимо причала, на котором группа матросов заменяет подгнившие привальные брусья. Чуть поодаль, теребя ремень карабина, скучающе поглядывает на бухту часовой.

— Трудовое воспитание в действии, — усмехается Камеев. — Матросы-арестованные с гарнизонной гауптвахты. А ты, говорят, еще никого не сажал? — спрашивает он Кострова. — Неужто у тебя все — голуби?

Костров не отвечает. Он смотрит на одного из арестованных, который не торопясь помахивает тяжелой кувалдой. «Где же я видел этого матроса? — соображает Костров, замедляя шаг. И останавливается, обеспокоенный неожиданным предположением. — Неужели Генька Лапин?»

— Минуточку, Вячеслав Георгиевич, я вас догоню, — и он заворачивает к пирсу.

Выводной торопится ему навстречу.

— Пошлите на минутку вон того, с кувалдой, — просит Костров.

Вразвалочку подходит арестованный. На его небритом лице — напускное безразличие. А Костров видит до боли знакомые черты: тонкие, изломанные посредине брови, чуть выпяченные, словно припухшие, губы...

— Ты?.. — все еще не веря глазам, спрашивает он.

— По вашему приказанию матрос Лапин... — жует Генька уставную фразу.

— Здравствуй, земляк. — Костров протягивает ему руку.

— Здравия желаю, товарищ... — опять заводит свое матрос.

— Ну здравствуй же! — повторяет Костров, не опуская руки.

— В смоле я перемазался, — разжимает кулаки Генька, силясь удержать безразличную мину, но усмешечка гаснет в уголках его рта, веки, дрогнув, опускаются вниз.

— Где же ты служишь?

— На береговой базе. Автомашины мою. Другой работы не доверяют...

— Арестовали за что?

— За пререкания. Начальнику автобазы майору Сиротинскому не угодил...

— Из Костров давно?

— Прошлой осенью призвали. Ползимы в учебном пробыл, потом сюда направили.

— Так и я здесь уже третий месяц! Как же мы до сих пор не встретились?

— Видел я вас раза два издали, да не стал подходить.

— Это напрасно. Ты извини, Геннадий, сейчас я тороплюсь. В следующий раз поговорим обо всем. До свидания.

Костров прибавляет шагу и догоняет ушедшего вперед Камеева.

— Знакомого встретил? — спрашивает тот.

— Земляка. Из своей деревни.

— Не из примерных землячок-то твой! — смеется Камеев.

Из записок Кострова

Мама очень хотела, чтобы я закончил десятилетку и поехал в Новосибирск учиться на агронома. Должность эта у колхозников в почете: как-никак — вторая рука председателя... А я видел, как с утра и до вечера надрывается мама в работе, и стыдно стало мне, шестнадцатилетнему бугаю, сидеть на ее шее. Из десятого класса я ушел в помощники к машинисту локомобиля. После войны колхоз приобрел эту новую безотказную машину, и опять вспыхнули в домах электрические лампочки.

Работа мне нравилась. Домой я приходил поздно, весь в мазуте, карманы были полны гаечных ключей и обрывков проводов. В свободное время я мастерил динамку, которая должна была вертеться от ветряка и подавать воду из колодца.

Мама погоревала о несбывшейся своей мечте и успокоилась: все-таки при доме остался сын и при деле.

Ольга Лапина училась в седьмом классе, а по вечерам пропадала у меня в машинном сарае. Косились на нее за это школьные учителя, а уж сельские сухомятницы старались вовсю.

— На Акулькину мокрохвостку и пересуду нет. Есть с кого перенять бесстыдные повадки, — взахлеб сплетничали они. — Жалко Саньку Настасьиного. Славным рос мальчонком, зато теперь обучит его Ольгуня что ни есть всему. С энтих-то лет избалуется парень!..

Не знаю, как относилась к таким разговорам тетка Акулина, но мама и словечком при мне не обмолвилась. Не вытерпел я сам.

— Скажи мне честно, мам, — спросил я однажды. — Веришь ты тому, что про нас с Ольгой плетут?

Мама поерошила мои волосы, вздохнула и ответила:

— Тебе, Шуренька, скоро семнадцать. Сам во всем можешь разобраться. Только одно запомни: плохие дела не одежу, а душу пачкают...

В пятьдесят первом году, сразу после весенних экзаменов, школьные краеведы затеяли поход вниз по течению Быстрянки. Была середина июня, время перемежки полевых работ. В июле — сенокос, в августе — страда, тогда уж не до походов: каждый школяр на счету.

Я отпросился с работы и тоже стал членом экспедиции. Собралось в поход шестеро парней и с десяток дев-

чонок. Отправились в путь весело, громко балагурили и пели, будоража своими голосами тайгу. Песни в ту пору любили, принесенные отцами с войны, — «Землянку», «Огонек» и особенно «Елочку-уралочку».

В котомках мы несли обычные деревенские харчи: постряпушки, домодельный сыр, вяленую рыбешку. Плечи парням оттягивали «тулки» да «ижевки».

Ружья в Кострах считались фамильной драгоценностью, переходили по наследству к сыновьям и зятьям. Не было случая, чтобы кто-нибудь продал свою двустволку. Бездетные вдовы и те не меняли мужнюю память даже на породистую телку.

Занятными были наши первые ночевки. Выбирали место на бугре, посуше, парни рубили кедрач, ставили балаганы, девчонки собирали хворост. Потом разжигали большой костер и все разбирались вокруг огня. Прихлебывая кипяток, рассказывали всякие занятные истории.

Костер со всех сторон обступала сторожкая темнота, от реки доносилось уханье и кваканье. Было радостно и чуточку жутковато. Но уже на третий день расстроилось общее согласие. Несколько девчонок в кровь порастирали ноги, поварихи невесть где обронили узелок с солью. Вдобавок ко всему берега Быстрянки оказались заболоченными, над топями толпился гнус, не давал дышать, ел кожу до багровых пятен. Не помогали ни дымари, ни сетки.

Начались споры. Одни настаивали на перемене маршрута, другие вовсе звали вернуться домой. В конце концов в тайге остались только мы с Ольгой. Больше недели бродили наугад по звериным тропам. До сих пор памятна мне прелесть тех июньских ночей. Мы коротали их возле шалаша, тесно прижавшись друг к другу. Шипели и трескались у наших ног смолистые валежины, по сухой хвое прыгали чернogривые огоньки, похожие на озорных гномов. Высоко в небе шевелились мохнатые звезды. А может, вовсе не они шевелились, а просто раскачивались над нашими головами макушки сосен, но все равно походило небо на фантастический муравейник. Духовитый дым щипал глаза, зато отгонял мошкару.

— Хорошо-то как, Санечка, — шептала Оля. — Ни на что на свете не променяю я наших краев! В городах-то, говорят, травинки живой не увидишь, вся земля асфальтом закована. Не смогла бы я жить в городе...

Слова ее обидели меня. Ведь знала она про то, что мечтаю я о мореходном училище. А самое ближнее море плещется в трех тысячах верст от Костров.

— Чего ты молчишь? — спрашивала Оля. И, смеясь, дразнила меня: — Дались тебе твои пароходы... Шел бы лучше в лесной техникум, там, сказывают, и конкурса вовсе пет.

Я не отвечал. Тогда она обняла меня за плечи, ласково потерлась своей щекой о мою. И невесть куда пропала моя обида.

Где-то поблизости заколотил крыльями, ухнул замогильно филин.

— Слышишь, носач кричит,— боязливо глянула в темноту Оля. — Говорят, к несчастью это...

— Глупости,— успокоил я ее.— Нынче в приметы даже бабка Перфильевна перестала верить.

Под рукой у меня было холодное ложе двустволки. Как мне хотелось тогда, чтобы забрел к нашему привалу какой-нибудь заблудший медведь и я бы всадил в его зубастую пасть жакан. Я бы сумел оборонить свою любовь ото всех зверей тайги.

...А вот от людей я не смог ее защитить. Осенью комсомольское собрание разбирало персональное дело Ольги Лапиной. Собрание было закрытым, меня па него не пустили, но я нахально остался под дверью и слышал все до единого слова.

Говорили больше преподаватели, а ребята отмалчивались. Особенно старалась завуч школы — ехидная дама в роговых очках и с фальшивой косой-кренделем вокруг головы. Она называла меня мужиком, напирала на то, что Ольга своим безрассудством замарала весь школьный коллектив. Ольга попросила ее выбирать слова. В ответ та оскорбила ее жестоко и грязно.

Разве мыслимо было стерпеть такое? Я плохо помнил, что натворил. В сознании остались лишь сухие острые ключицы завуча да брызги стекла от попавших мне под ноги очков.

Ночевал я на пастушьей заимке. Придя домой на рассвете, узнал, что «селедка» подает на меня в суд. Я не испугался тюрьмы, по представить, как судьи снова будут трепать Олины нервы, было выше моих сил. Тайком собрав узелок, не сознавшись даже маме, я бежал из села.

ГЛАВА 5

«Встреча с Генькой разбередила мои давние раны. Всю ночь я не сомкнул глаз, а вокруг моей постели толпились воспоминания, и даже ночные звуки неожиданно преобразились. Какая-то птица крикнула таежным филином, вода в туалете журчала, как Быстрянка на перекатах, скрипнули дверные петли, совсем как в охотничьей избушке за Кистеневской падью.

Всю ночь я комкал подушку, а утром поднялся с больной головой и с твердым решением принять участие в Генькиной судьбе...»

В кубрик «тридцатки» привели новичка. Одет он в застиранную, выцветшую робу. Рубаха на плече небрежно заштопана прямо через край, а из коротких рукавов торчат худые, жилистые руки. Подводники с любопытством поглядывают на пришельца.

— Откель родом, служивый? — не без иронии спрашивает кто-то. Услышав ответ, громко присвистывает: — Ого, далеко тебя занесло!

— Какого года призыва? Не в пятую БЧ назначен? — сыплются еще вопросы.

— Куда пошлют, туда и пойду. А спец я по мягкому металлу — по хлебу и по салу.

Боцман Тятько уводит новичка в лодочную баталерку.

— Этот рундук ваш будет, — показывает мичман. — А вот вешалка для формы первого срока. Что-то, товарищ Лапин, справа на вас не гарная, — качает головой Тятько. — Не бережете, видать, обмундирование?

— Берегут исподницу для смертного часа, — не лезет в карман за словом Генька, — а мне на тот свет не к спеху.

— Язык вам попридержать придется, — спокойно говорит боцман. — Языкатые у нас на лодке не в почете. А теперь скидывайте свои обноски. Новую робу выдам.

Тем временем в каюте командира происходит крупный разговор.

— Полюбуйтесь, товарищ капитан третьего ранга, — говорит Болотников, кладя на стол послужной лист новичка. — Взгляните, какого кадра удружили комплектовщики! Выговоры, наряды, арест с отсидкой на гауптвахте! И такого типа суют на ракетную лодку!

— Остыньте, Зиновий Николаевич, — успокаивает его

Костров. — Учтите: все болезни от нервов, только две от удовольствия. Давайте разберемся, что к чему... Лапин Геннадий Владимирович, — читает он вслух анкету.

«Почему Владимирович? — застревает. он на первой же строке. — Ведь Ольгино отчество — Ивановна. Неужели Акулина в пику маме записала на отца своего сына?» Костров отодвигает в сторону документы новичка и собирается с мыслями.

— Вот что, комендор, — после паузы говорит он. — Матроса Лапина я хорошо знаю, никакой маеты с ним не будет. Назначайте его учеником электроприбориста.

Чуть погодя в каюту заглядывает замполит Столяров.

— Можно, товарищ командир? — спрашивает он.

— Входите, Николай Артемьевич. Прошу, — указывает Костров на диван.

Когда замполит присаживается, упреждает его вопрос:

— Исповедовать будете?

— Зачем исповедовать, — улыбается Столяров. — Я не поп, а политработник.

— Болотников жаловался?

— Ага. Что это за паренек, из-за которого сыр-бор разгорелся? Почему мы берем на лодку этого рекордсмена по взысканиям, да еще сверх штата?

— Хорошо, замполит, — без улыбки говорит Костров. — Я вам расскажу биографию этого матроса. То, чего не пишут в анкетах...

Он вспоминает незавидное Генькино детство, когда обсосанный кусочек сахара был для мальца единственным лакомством. Рассказывает о его матери, беззаботной деревенской гулёне. И еще о многом говорит Костров задумчиво слушающему замполиту, умалчивая лишь об Ольге. Да и какое имеет она отношение к этому разговору? Хватит и того, что они с Генькой здесь, за тысячи километров от родного села, почти как родичи.

— Бывали у нас в Кострах разные люди, — негромко говорит Костров. — И выпивохи, и до баб охочие. Только бездельников не было. Генька тоже сызмальства к труду приучен. Потому выйдет из него добрый матрос...

— Все это верно, товарищ командир, — первым нарушает молчание Столяров. — Только почему бы вам все это раньше не сказать? Обидели вы своим недоверием и Болотникова, и меня. Думаете, у одного вашего Геньки

сложная судьба? — грустно усмехается замполит. — А вас никогда не удивляло то, что я со своим кацовским носом — и Столяров? Намаялся я в жизни побольше вашего земляка. У него хоть непутевая, да мать была, а я не знаю, кто меня на свет произвел. Помнить себя начал в Батайском детдоме, есть такой городок возле Ростова-на-Дону. Звали меня Николкой, а отчества я, пожалуй, не имел. До тех пор пока не усыновил меня один замечательный человек — Артемий Михайлович Столяров, инструктор райкома партии. Зашел он как-то к нам в детдом, а я ухватился ему за рукав, да так и не отпустил...

Жили мы с отцом вдвоем, жена его еще до меня скончалась. Сами стирали и стряпали. Отец мотался по колхозам, дел у него было невпроворот, но без надзора меня не оставлял. За шалости строго отчитывал.

— Слушай, абрек, — он меня так под сердитую руку называл. — Это ты в подвале окошко расколотил? За хулиганство не хвалю, а за то, что дворнику наврал, отказываю тебе в своей дружбе на целую неделю.

А для меня это было самое страшное наказание.

В школу я пришел, как и все, с именем, отчеством и фамилией, но не окончил и первого класса, как опять очутился в детдоме. На этот раз в самом Ростове. Отец не вернулся из командировки, а за мной приехал детдомовский воспитатель, молодой парень в гимнастерке.

— Запомни, Коля, — заявил он мне дорогой, — фамилия у тебя будет теперь Ростовцев. Понял? Рос-тов-цев. Ну-ка, повтори.

— Не хочу повторять! Столяров моя фамилия, и никакой другой мне не надо! — огрызнулся я.

— Ну, не хочешь новой фамилии, шут с тобой, живи со старой...

Так и остался я Столяровым. А ведь, если прикинуть, Ростовцев куда красивее звучит?

Заместитель катает меж пальцев сигарету, пока не растирает ее в табак. Вынимает другую и, чиркнув зажигалкой, раскуривает короткими затяжками.

— Виноват, — спохватывается он, — забыл про субординацию, закурил без разрешения.

— Курите, Николай Артемьевич, — подает голос Костров.

— Вы меня извините, товарищ командир, за то, что разоткровенничался, — смущенно улыбается Столяров. —

Чего там говорить, и у моего, и у вашего поколения битое детство. Многие безотцовщиной росли. Знаю, что и ваш отец на фронте погиб.

— Под Москвой, в январе сорок второго года...

— Прошу прощения, — смотрит на часы замполит. — Мне надо поторопиться на инструктаж политгрупповодов.

В дверях он на мгновение задерживается:

— А с парнем вашим все будет в порядке. Сделаем из него настоящего подводника!

Из записок Кострова

Автобус сворачивал в сторону, не доехав добрый километр до Костров. Я махнул рукой водителю, потом вороватo огляделся — не маячит ли кто за околицей — и, сойдя на обочину, раскрыл чемодан. Торопливо переоделся в парадную форму.

Мигом взопрела спина от прильнувшего к сукну каленого июльского солнца. Но я терпел: очень уж хотелось заявиться на село чин чинарем, с надраенными якорями на погонах и двумя золотистыми угольниками на рукаве.

Первыми высмотрели меня деревенские ребятишки. С гусиным гоготом они наперегонки понеслись мне навстречу.

— Здравствуйте, дядька матрос! Вы к кому? — наперебой закричали они.

— И вовсе он не дядька, — авторитетно изрек веснушчатый долговязый малец. — Он тетки Настасьи Костровой сын. И нашей Ольгухе все время письма шлет!

Значит, это Генька Лапин. Ничего себе вытянулся за три года! Когда я утек из Костров, он был еще голопузым несмышленышем и вечно хныкал, выклянчивая сладости у дружков.

После Генькиного заявления признали меня и его приятели.

— Сань, а Сань, — галдели они, облепив меня саранчой.— Ты на каковском пароходе ездишь? А на котором море, Черном али Белом?

— Плаваю я, пацаны, на стотрубном линкоре, — честно признался я. — Стоит он в городе Владивостоке на Саперной сопке.

— Как это на сопке? — не верили они. — Линкоры же по воде, а не по земле ходют!

— Это военное училище прозвали стотрубным линкором, — пояснил я, ласково поглаживая их выгоревшие на солнце чубы и краем глаза прихватывая часть широкой деревенской улицы, покрытой кудрявой травой. Но село словно вымерло.

«Да ведь нынче сенокос», — наконец сообразил я. Стоило обряжаться в сукно ради десятка любопытных гавриков!

Босоногий эскорт сопровождал меня до самого дома. Но и там ребятня не оставила меня в покое. Облепив, словно галчата, плетень, они смотрели на то, как я окатывался водой, черпая ковшом из поливальной кадки.

— Давай, Сань, я тебе спину оболью! — предложил свои услуги Генька.

Я разрешил, смекнув, что его можно кое о чем расспросить. Польщенный моим вниманием, он единым духом выложил все деревенские новости. Самым неожиданным для меня известием оказалось то, что к Ольге сватался новый киномеханик Ефим Сергеев, год назад присланный в Костры из райцентра. Акулина до сего дня шпыняет дочь: «Самая тебе пара Ефим, дурища ты длинноволосая. А на летуна Настасьиного зря только чернила переводишь. Станет офицером — профессорскую кралю засватает».

Я слушал сбивчивую Генькину речь и под сердцем моим шевелился кусачий червяк. В письмах-то Ольга полсловечком не обмолвилась про этого Ефима. А разве ни с того ни с сего засылают сватов?

Несколько пацанов вызвались сбегать за пять верст в пойму Быстрянки. Через пару часов скрипнула калитка, и запыхавшаяся мама мокрой щекой уткнулась в мою грудь.

— Шуренька, сыночек, кровиночка моя... Глазоньки проглядела, все эти годы тебя дожидаючись! Надолго ли домой?

Успокоясь, принялась потчевать меня, будто прибыл я из голодного края. Мигом замесила блины, уставила столешницу всяческой снедью. Даже миску рыжиков прошлогоднего засола сберегла, зная, как люблю я эти грибы. Из погреба вынула холодную, мигом запотевшую бутылку водки.

Очень шустрой была в ту пору мама. Хотя шел ей сорок пятый год, лицо у нее было чистое, без единой морщинки, а седые волосы походили на крашеные, как у городских модниц.

Мы просидели с ней вдвоем до сумерек. Когда же совсем завечерело, мама вздохнула и сказала:

— Ступай теперь в клуб, сынок. Небось и она заждалась.

Когда я перешагнул порог, в ближнем, махорочном углу клуба вежливо расступились парни, в дальнем, подсолнечном любопытно заерзали девчата.

Сверстников моих на вечерке не было, все они служили в армии, зато многие из теперешних кавалеров при мне еще гоняли свайку на сельской поскотине.

— Мое всем почтение! — поздоровался я старинной костровской формулой.

Чуток потерся для приличия возле парней и направился через зал к девичьим скамьям. Там среди подруг сидела принаряженная Ольга. Как раз завели вальс.

— Можно, Олеся?

Ее рука обожгла мне плечо. Беспредельная радость во взгляде, ласковый трепет руки напрочь развеяли мои давешние сомнения. Как завороженные смотрели мы друг на друга и не замечали, что никто больше на круг не вышел и мы танцуем вдвоем.

Радиола вдруг захрипела, захлебнулась на миг, и полетели из репродуктора отрывистые, будто собачий брех, звуки.

Где-то прыснули в кулак, но одинокий смешок зачах, перебитый возмущенными криками:

— Перестань дурачиться, Сергеев! Ефим, как не стыдно!

Я на секунду опешил, но Оля не растерялась, не убрала руки с моего плеча. Так мы стояли, обнявшись, посреди притихшего зала, до тех пор пока в кинобудке не пустили радиолу на нормальный ход.

Этим вечером я впервые увидел настырного Ольгина ухажера. Был он высок ростом, но худ и узкоплеч, носил клочковатую бородку, которая делала его похожим на расстригу-семинариста. Ольга подозвала его, Ефим подошел, кивнул мне небрежно, как младшему, и галантно поклонился девушке:

— Я к вашим услугам.

— Ты за что меня позоришь? — негромко спросила она.— Я разве тебе чего обещала?..

— Успокойте нервы, барышня. Вы тут вовсе ни при чем. Техническая причина: заело радиолу.— Парень повернулся и, ссутулясь, направился к двери в кинобудку.

— Ты лучше не трожь меня, Ефим! — вслед ему громко крикнула Ольга. — Обожжешься! Я тебя самого на весь район ославлю!

ГЛАВА 6

«С некоторых пор на моем столе в общежитии стали появляться букеты цветов. Белые махровые розы и яркопунцовые пионы наполняют комнату дразнящим ароматом. Словно в пику моему незабвенному Дальнему Востоку, где, по утверждению остряков, сто километров — не расстояние, сто рублей — не деньги, цветы без запаха и женщины без изюминки.

Я даже разозлился, увидев первый букет. Что я, киноартист или лирический баритон? Но, заглянув в комнаты соседей, и у них обнаружил такое же благоухание. Занятная женщина наша комендантша. Мне рассказали, что она вдова. О нелепой смерти ее мужа до сих пор говорят в городке. Вирусным гриппом в ту зиму переболели многие, а скосил он тридцатилетнего здоровяка, известного на флоте спортсмена мичмана Стороженко. Кстати, и девичья фамилия самой Алены Григорьевны тоже красуется в таблице флотских рекордов...»

Помещение, где находится ракета, похоже на большущую операционную. Такие же высокие окна, стены выкрашены белилами, всюду молочно-белые приборы, и даже люди одеты в медицинские халаты. Для пущего сходства не хватает лишь марлевых повязок на лицах.

А в центре зала на раздвижной технологической тележке лежит и сама «пациентка» — сигарообразная баллистическая ракета. Поглядывает на своих врачевателей желтым полистирольным глазом взрывателя, будто хочет сказать: «Чего вы все сгрудились возле меня? Не видите, что я жива-здорова?» Под ее зализанной оболочкой томятся в неволе умные, работящие механизмы, способные вращать турбины электростанций, водить тракторы в поле и в море корабли, но состоящие пока на службе.

«Неужели, — раздумывает иногда Костров, — вспыхнет когда-нибудь третья мировая, придется нажать кноп-

ку «Старт» и выпустить на волю все ее испепеляющие мегатонны?» Он согласен в один прекрасный день остаться без работы, лишь бы это никогда не произошло. Хотя, если сознаться честно, нелегко ему будет менять свою голубую субмарину даже на океанский суперлайнер. Ведь первая любовь — всегда самая верная.

Экипаж «тридцатки» готовит ракету к погрузке в лодку. Тоже своего рода праздник, не менее торжественный, чем первый подъем военно-морского флага. Ракетчики ходят именинниками, их освободили от всех корабельных нарядов, в столовой им подают усиленные порции.

— Заправляйтесь плотнее, — шутят бачковые, — на сытый желудок легче соображается!

— Это верно,— не остаются в долгу ракетчики.— От доброго харча на флоте ни одна тельняшка не лопнула!

В проходную арсенала подводники входят благоговейно, как в музей. Старательно выворачивают карманы, сдают вахтеру спички и папиросы. В цехе любовно поглаживают бока своей ракеты и называют ее уважительно: «она». Впрочем, с такой игрушкой действительно нужно обращаться на «вы».

Главное действующее лицо здесь — комендор Болотников. Куда девалась его неповоротливость! Капитан-лейтенант челноком снует вокруг ракеты, выныривая то с одной, то с другой стороны тележки. Его вспотевшую шею трет ремень переносного мегомметра.

— Разъем сто тридцать! — удивительным для его крупного тела фальцетом выкрикивает комендор.

— Разъем сто тридцать принят! — откликается старшина операторов Кедрин. — Разъем сто тридцать — изоляция в норме! Разъем состыкован и законтрен! — докладывает он немного погодя.

Этого смуглого темноволосого старшину Костров приметил давно, знает даже, что на лодке Кедрина называют «копченым». Еще до службы старшина закончил Херсонскую мореходку, вдоль и поперек исходил Черное море и даже имеет благодарность от правительства Италии за участие в спасении танкера «Аджип Равена», севшего на камни возле Новороссийска.

Чуть в стороне мается от безделья Генька. Он пока только на подхвате: подай это, принеси вон то... Уже третью неделю живет он в экипаже «тридцатки», но дер-

жится нелюдимо. «Надо с ним потолковать с глазу на глаз», — думает Костров.

Постепенно ракета расцвечивается крохотными флажками, словно положенная набок новогодняя елка. Это обозначены предохранительные чеки, которые надлежит вынуть на причале перед загрузкой ракеты в шахту пусковой установки.

Потом, когда ракета по-хозяйски обживает стальной контейнер, неведомо ей, что отныне стала она предметом особых забот всего экипажа. Любой матрос считает своим долгом справиться у дежурного по боевой части два:

— Ну, как там она?..

— Лежит, голубушка. Пить-есть не просит, а глаз за ней нужен больше, чем за малым дитем, — терпеливо объясняет дежурный.

Не ответишь — всерьез обидишь человека.

В одну из ночей команду поднимают по боевой тревоге. Разбужен только кубрик «тридцатки», во всей остальной казарме — сонное царство. Лишь маячат под синими лампами неясные силуэты дневальных.

Поеживаясь на свежем ветру и позевывая, подводники выстраиваются на плацу перед казармой. Быстрыми шагами подходит Левченко и после короткой переклички командует:

— Напра-во! На лодку бегом марш!

Весь импровизированный кросс старпом бежит во главе строя, не уступая лидерства до самого причала. «Упрямый мужик», — отмечает про себя Костров, слыша, как затихает впереди цокот каблуков по бетону.

За поворотом лодку встречает шторм. Порывистый ветер разноголосо свищет в шпигатах, а сама «тридцатка» учтиво кланяется волнам. Чем дальше от берега, тем сильнее шипит и пузырится воздух в балластных цистернах. Захлестывающие мостик валы вынуждают поднять капюшоны штормовок.

Одна из волн разбивается о козырек рубки и плещет Кострову в лицо.

— Море нынче горбатое, товарищ командир! — подает голос боцман Тятько, который по ночам лично становится за руль, чтобы вывести лодку из бухты.

Низко к воде спустилось темное, обложенное тучами небо. Кажется, если встать на рубку, то можно будет дотянуться до него руками. А по воде разлито мерцаю-

щее сияние, словно за борт высыпали горячую золу. Силуэт лодки очерчен голубовато-зеленой каймой, а за кормой тянется иллюминированная дорога. Все это учинили микроскопические рачки, которых биологи называют планктонными микроорганизмами.

— Боцман, — обеспокоенно спрашивает Костров,— это что, до самого дна будет такая катавасия?

— Нет, товарищ командир, — откликается Тятько. — Морские блохи завсегда наверху свадьбы справляют. На глубине их нема. Погрузимся, и все будет гарно!

— Хорошо, коли так, — вслух размышляет Костров.— А то мы для самого паршивого самолета сейчас как на блюдечке с голубой каемкой...

На мостик взбирается посредник, офицер штаба противолодочных кораблей. Он скромно пристраивается за командирской спиной.

— Достанется нынче вашим «эмпекашкам»! [1] — говорит ему Костров. — Ишь как разгулялось «мандариновое» море... Баллов на шесть, не меньше...

— Ничего, мы народ привычный, — откликается тот.

«Особливо твой брат, штабник, — мысленно иронизирует Костров. — В кабинете не дует, не качает. Восемнадцать ноль-ноль, и море на замок...»

— Разрешите закурить? — спрашивает его посредник.

— Дымите, — разрешает Костров. — Накуривайтесь до слез. — Погрузимся, тогда только слюнки будете глотать.

Посредник молча попыхивает сигаретой.

— Кто у вас старший поисковой группы? — оборачивается к нему Костров.

— Новый наш комдив, капитан третьего ранга Вялков.

— Его, случаем, не Михаилом зовут? — оживляется Костров.

— Так точно, Михаилом Васильевичем.

— Невысокий, худощавый такой?

— Невысокий — да, а насчет худощавости — не совсем, — мнется посредник. — У нашего комдива морской мозоль наметился...

«Фу, балда, — смеется над собой Костров. — Глупая привычка мыслить прошлыми категориями. Ведь десять лет прошло».

[1] МПК — малый противолодочный корабль.

— Шепелявит немножко, передние зубы золотые? — продолжает он допрашивать посредника.

— Ага. Тот самый, — утвердительно кивает капитан-лейтенант.

— Однокашники по училищу.

Костров усмехается своим мыслям. Вспоминает, как на первом курсе спал Вялков под ним на нижнем этаже двухъярусной койки. И часто слышал Костров, как после отбоя похрустывал его сосед добытыми на камбузе сухарями. Был Вялков низкорослым и худущим, будто с креста снятым, зато аппетит имел завидный. Одним махом съедал двойную порцию перловой каши. Приятели вышучивали Михаила, говорили, что коэффициент полезного действия его желудка равен нулю.

...Наверх стремительно вылетает штурман Кириллов.

— Товарищ командир, — докладывает он деланно-официальным тоном, хотя гордость так и прет из него наружу.— До полигонного буя пятнадцать кабельтовых.

На самом деле это означает: ахайте и удивляйтесь, товарищ посредник. Полсотни миль за кормой, а в точку прибыли, как по рельсам!

Вскоре во млелых рассветных сумерках сигнальщик замечает полосатый буй, который выпрыгивает из волн, словно до смерти рад, что навестили его в мокрой пустыне...

— Подходим к точке погружения, — сообщает Костров посреднику. — Можете спуститься вниз, сверить координаты по карте. Все точно по заданию.

Но посредник остается наверху.

— Приготовиться к погружению! — чуть погодя командует Костров, привычным движением убирая откидную площадку для ног.

Топочут по железному настилу матросские ботинки. Летят за борт недокуренные сигареты.

Слабая дымка совсем рассеялась, горизонт отступил далеко в море, а на западной его кромке появились треугольнички корабельных силуэтов.

— Торопятся, супостаты, — подкручивая окуляры бинокля, вслух размышляет Костров. — Гляньте, ваши? — спрашивает он у посредника, протягивая ему бинокль.

— Они, — подтверждает капитан-лейтенант. — На головном сам комдив. А следом идет «двести четвертый».

Я его издалека узнаю по такелажу. Бывший мой корабль...

Он опускает бинокль, пытается улыбнуться. Но губы его не слушаются, они вздрагивают, как у обиженного ребенка.

— Чего же вам не плавалось? — интересуется Костров.

— Медицина вышибла из седла, — вздыхает посредник. — Намерили мне врачи кровяное давление больше полутора сотен и спровадили на берег...

«А он толковый парнишка», — одобрительно глядит на капитан-лейтенанта Костров, затем говорит уже вслух:

— Теперь сигайте вниз, сейчас топором пойдем ко дну!

В последний раз смотрит в сторону противолодочных кораблей, над которыми уже простым глазом видны тоненькие соломинки мачт, и командует:

— Срочное погружение!

Громко клацает над его головой автоматический замок крышки рубочного люка. Пять секунд — и Костров уже в центральном посту лодки. Только перчатки дымятся, нагретые о поручни трапа... И тут же гулко ухает вода в балластные цистерны. Сразу становится тихо за бортом, замирает под ногами палуба. Море, которое в сто глоток ревело там, наверху, здесь, на глубине сорока метров, затаилось и молчит.

Костров втискивается в рубку к штурману, усмехается, увидев заведенный навигаторский порядок. В желобе стола разложены карандаши, очиненные на разный манер: волосинкой — для ходовой карты, лопаточкой — для записей в навигационный журнал. Рядом в стаканчике со спиртом мокнут резинки — чтоб мягче были. На гвоздике пришпилен клочок замши — смахивать карандашную стружку. Ну и консерваторы штурманы! Только приборы, жужжащие и пощелкивающие на переборках, напоминают о второй половине двадцатого века.

Кириллов отодвигается, позволяя командиру встать рядом. На карте, что расстелена перед ним, паутинкой вытянулся пройденный путь, там и сям прилепились к нему горошинки определений. Костров питает слабость к своему штурману. Может, нравится ему расторопность старшего лейтенанта, а может — просто завидует его молодости.

— Волнуетесь, Никита Львович? — спрашивает он. — Ничего, все будет в ажуре!

«Тридцатка» подвсплывает под перископ. В голубоватых линзах его колышется белесая, словно покрытая инеем, поверхность моря. Противолодочные корабли остались где-то за горизонтом, вблизи не видать ни дымка, ни силуэта.

Спустя полчаса у Кострова ноют подушечки больших пальцев от ребристых рукояток перископа. Не надо быть гадалкой, чтобы узнать подводника по ладони: загнутая подковкой мозоль в середине ее — от поручней трапа, маленькая и колючая на больших пальцах — от перископных рукояток.

— Работают три цели! Пеленг... Дистанция... — врывается в командирские размышления доклад локаторщиков.

«Ясно... Значит, начали поиск», — отмечает Костров.

— Опустить выдвижные устройства! Боцман, ныряй! — командует он.

Метр за метром погружается лодка в холодное и безмолвное нутро моря. Загустел воздух в отсеках, стал волглым и вязким, как кисель. Прослезились крашеные переборки.

В рубке акустиков душно, как в парной бане, температура здесь выше, чем в других отсеках. В свете индикаторных ламп лоснятся голые потные спины операторов.

— Шум винтов противолодочных кораблей! Пеленг...— кричит в мегафон старший из них. — Контакта с нами не имеют...

— Стоп оба мотора! — Это снова Костров. — Штурман, будем идти толчками! Боцман, докладывать изменение глубины!

Рядом с командиром на раскладном стуле расположился со всей своей бухгалтерией старший помощник. Костров даже не заметил, когда он появился и успел разложить все свои таблицы, диаграммы, справочники.

По корпусу лодки внезапно ударяет дробина. Она врывается пистолетным выстрелом в тревожное молчание моря. За ней — вторая, третья, целая горсть...

— Посылки гидролокаторов! Пеленг... — частит акустическая рубка.

Лодка обнаружена. Из дробин сплетена цепочка, на

которой корабли ведут подводную лодку, как паршивую собачонку на живодерню.

Множество глаз из разных углов центрального отсека смотрят на командира. В этих взглядах — любопытство и надежда.

— Как меняется пеленг? — спрашивает Костров у штурмана.

— Быстро на нос, — отвечает старший лейтенант.

— Характер маневрирования кораблей?

— Вцепились, как клещи, товарищ командир...

— Я спрашиваю их курс! — сердито обрывает Костров.

— Лежат на курсе сближения!

— Лево на борт! Боцман, ныряй на глубину!

— Зря погружаемся,— негромко говорит Левченко. Это его первые слова, произнесенные за все время уклонения от атаки. — Внизу звуковой канал. Наоборот, надо подвсплыть...

— Здесь командую я! — Голос Кострова необычно резок. — Боцман, погружайтесь!

Лицо старпома темнеет. Он опускает голову и склоняется над своими таблицами.

Разноцветные линии на маневренном планшете неумолимо сближаются. Оттого, видно, так повеселел посредник.

— Право па борт! Дробь, оставить руль прямо!

«Главное — без психа», — мысленно успокаивает себя Костров.

— Стоп левый мотор! Штурман, обстановка?

— Ведем на хвосте, товарищ командир...

— Стоп оба мотора!

— Дифферентуемся на нос. Теряем глубину! — Это уже хрипловатый басок Тятько.

— Левый малый вперед! Оба малый вперед!

Противолодочные корабли перестроили ордер. Один из них резко сбавил ход, наводит остальных, идущих самым полным. Это уже похоже на боевой курс.

— Право на борт! Стоп левый мотор!

Поздно... Где-то совсем рядом лопается граната, обозначающая серию глубинных бомб. Накрытие! Сегодня море было молчаливым союзником тех, кто наверху.

— Разрешите отбой боевой тревоги? — спрашивает Левченко у командира.

Тот не отвечает, хотя по-прежнему стоит рядом. Тогда Левченко неторопливо сворачивает свою бухгалтерию.

— Командуйте всплытие, старпом, — секунду спустя приходит в себя Костров.

Солнце забралось уже на самую макушку неба. «Неужто полсуток провели под водой?» — мысленно удивляется посредник. Для него время пролетело, словно один миг.

Солнечные блики рыбьей чешуей поблескивают на изгибах ленивой зыби. Шторма как не бывало. Сменившийся ветер разом прибил волну.

Чуть погодя к лодке приближается и насмешливо кланяется ей один из противолодочных кораблей. На парусиновом обвесе мостика у него алеет призовая звезда.

— Заслуженный противник! — цокает языком замполит Столяров. — Такому и проиграть не стыдно!

Хитер замполит, но Костров благодарен ему за моральную поддержку.

— Сигнальщик! — командует он.— Передайте семафор на МПК! Комдиву. Один — ноль в вашу пользу. В долгу не останусь. Костров.

С минуту он глядит на то, как сигнальщик, хлопая жалюзи прожектора, складывает в текст точки и тире. Потом отворачивается и передает по боевой трансляции вниз:

— Штурман, проложите курс в базу!

Из записок Кострова

Перед самым моим приездом прошли в Кострах ядреные ливневые дожди. Подоспели они в самую тютельку, и трава после них вымахала выше колен. Косить ее было легко и радостно. На делянке я встал в ряд следом за мамой и, поплевав на ладони, взялся за потемневший, отшлифованный отцовскими руками черенок литовки.

— Ну, бог в помощь, сын! — сказала мама, с первым замахом выступая вперед.

Пахучим зеленым веером легла вокруг ее ног скошенная трава. «Вжик-вжик» — тенькнуло жало моей косы и... глубоко врезалось в землю. Я торопливо выдернул его и, размахнувшись вдругорядь, снова поднял дерн.

— Совсем разучился ты, Саня, крестьянствовать, — ласково и грустно улыбнулась мама.

— Погоди, приноровлюсь! — не сдавался я, пучком травы счищая с острия черные с белыми прожилками комья дерна. Потом снова поднял косу и с добрым замахом пошел за мамой

«Дзень!» — опять ойкнуло жало, втыкаясь носом в узловатый комель.

— Повыше литовку веди, Санечка! — оглянувшись, подсказала мама.

Через час-полтора я оставил ее далеко позади. Тихо вздыхая, ложилась к моим ногам трава. Пахла она земляникой и медом. С мохнаток клевера поднимались тяжелые шмели. Иногда они не успевали взлететь и натужно гудели, выбираясь из-под рухнувшего валка.

Дышалось вольготно. Раззуделись сильные руки и сами поспевали за литовкой, а со лба и щек трусились в скошенную траву горячие росинки пота. Снял я форму — и снова стал сельским парнем, охочим до крестьянской работы. Словно никуда не уезжал из Костров. А все недавнее — и бегство на край света, и буксир «Бриз», и военно-морское училище — казалось удивительным сном.

К полудню, когда я по второму ряду прокашивал свою делянку, ненароком засек перепелку. Видать, затаилась она в гнезде и вспорхнула, когда зазвенела над ним коса. Упал на стерню лишь кровавый ошметок перьев. А в гнезде осиротели четыре серых, едва оперившихся птенца. Я принес их вместе с гнездом к артельному навесу, под который со всей луговины собирались полдничать косари.

— Загинут они теперь без матки,— вздохнула Оля, глянув на моих перепелят. — Глупыши еще совсем.

Она тронула пальцем морщинистую головку птенца, и тот с беззвучным писком разинул широкий желтый клюв.

Оля поднялась с травы и улыбнулась мне заметно припухшими губами. А по всему моему телу растеклась горячая истома: вспомнилось, как до зорьки мучил я эти губы.

Мама разложила на столешнице узелок с едой, позвала нас обедать.

— Стесняться нечего, сношенька, — сказала она, углядев, что редко протягивает Оля руку к расстеленному платку. — Будешь робить много, а есть не вдоволь, про-

падет румянец-то. А девка без румянца — что утро без зорьки.

Годы так и не примирили двух безмужних баб — маму и Акулину Лапину. Не помирили их ни седина, ни взрослые дети. К тому же с недавних пор пристрастилась к хмельному Акулина. На потеху всему селу горланила она по вечерам разухабистые песни, залив медовухой бесстыжие глаза. А Ольге пришлось бросить школу, чтобы поднять на ноги младшего братишку. Отработав смену па молоканке, торопилась она домой — варить щи и латать прохудившиеся Генькины рубашонки.

Часто, когда запьяневшая Акулина валилась кулем на чужую завалинку, Ольга приходила за ней, не корила и не плакала, а просто брала мать под руку и вела ее под насмешливыми взглядами и пересудами...

Ох, какими короткими оказались мои отпускные недели! Не успел я оглянуться, как остались считанные денечки. И все жаднее и крепче становились Олины поцелуи, будто не терпелось ей нацеловаться на целый год вперед. Разговоров про любовь и клятв она не любила. Когда шептал я ей ласковые слова, она прижимала ладонью мои губы.

— Неча меня цуцкать, как кутенка, Санечка, — говорила она. — Лучше еще разок поцелуй...

В деревне все на виду. Тайны за пряслом не укроешь.

— Баяли мне, Лександра, будто ты Акулькину Ольгу берешь? — спросил меня как-то колхозный мельник Трифон Кудинов.

Был он слегка под хмельком, его хитрые глазки едва виднелись меж набухших век. Не раз штрафовали Трифона за самогон, грозились с мельницы прогнать, но лучше его никто не умел управляться с жерновами и крупорушками. Поэтому легким бывало ему прощение.

— На свадьбу, чай, кликнешь? — осклабился мельник. — Люди бают, я Ольге сродственником прихожусь! Хи-хи-хи...

Был когда-то Трифон невенчанным Акулининым мужем. Болтали даже, что Геньку от него прижила непутевая баба. Может, и взаправду от мельника у мальчишки плутовские коричневые зенки.

— Время придет, приглашу, дядя Трифон, — ответил я вполне серьезно.

— Смотри не обойди старика, — хмыкнул он в бороду. — И будь ласка, коньяков на меня не переводи. Поднеси лучше нашей, хлебной!

Я уже складывал чемодан, когда пожаловал к нам в избу негаданный гость — сам колхозный председатель Иван Гордеевич Емелин. Мама кинулась в лавку за бутылкой «Померанцевой». Другой водки не завезли в Костры тем летом.

— Зря гоношишься, Петровна, — сказал председатель. — Не на смотрины пришел...

Но от чарки не отказался. Крякнув, опрокинул ее единым духом.

Председатель наш — человек бывалый. Пришел с войны полным кавалером солдатского ордена Славы, но больше тем гордился, что от Ленинграда до самого Кенигсберга дошел без единой царапины.

«Пуля, она труса чаще метит, — любил приговаривать Иван Гордеевич, — а храбрый, ежели и гибнет, то на тот свет отправляется со свитой из вражьих упокойников».

Только после второй рюмки открылся председатель, зачем пришел.

— Крепко ты нас обидел, Александра, своим убегом. Из-за одной ерепенистой бабы на все село хулу положил. Или бы не нашлось в Кострах на «селедку» твою управы? Да не в ней суть дела, — сказал он, разливая остатки водки. — Петровна! — окликнул он маму. — На-ка трешницу, сходи в лавку за моим паем. Зарок давал до уборочной в рот не брать, да сынок твой раззадорил. Так вот что я сказать хочу, — повернулся ко мне Иван Гордеевич. — Слишком легко вы, нонешние, корни свои из землицы выдираете. Этак скоро заколотите горбылями все окна, и поминай, где стояло село Костры! Нет у вас фамильной гордости. Птица и та завсегда в одном краю гнездится. А вы человеки! Шатунами разбредаетесь по белу свету — можа, за красивой долей, можа, за длинным рублем гоняетесь! Ну-ка, давай выпьем, что ли, злость свою заполощем!

Выпив водку, он положил на мое плечо тяжелую, бугристую руку.

— Чего тебя понесло на край земли, Александра? Батя твой, а мой друг Володька, плугом недопахал, топором недомахал... Его долг на твоей совести остался! Вот что, матрос: отслужишь, и вертайся обратно в село. На колхозный счет в институт тебя пошлем. Нам свои спе-

циалисты до зарезу нужны, чужие-то негусто в наши края едут. Дом твой перестроим, двухэтажный, с балконом, на городской манер отгрохаем. Дай срок, такого здесь наворочаем, что другие диву даваться будут. Для всего этого руки рабочие нужны, Александра. Чуешь? Много рук требуется...

— Долго меня ждать, Гордеич, — негромко, чтобы не обидеть председателя, обмолвился я. — Двадцать пять лет мне служить определено.

— А на кой ляд тебе офицером становиться? — стукнул кулаком по столу председатель. — Действительную отслужи, да и домой. Мы тебя своим колхозным командиром назначим. Почету не меньше, а проку, может, и поболе. Мы-то, фронтовики бывшие, не двужильные, нам о замене своей думать пора. А кто нас заменит, ежели вы, молодые, кто куда из села подадитесь?

— Кому-то и моряком надо быть, Гордеич...

— Кто море твое налил, пусть в нем и плавает! А ты, Александра, из таежного рода. Или тайга-матушка наша хуже воды той соленой?

— Тайга тайгой, а море морем...

— Ну вот что, Александра! Хоть ты и не подкидышем рос, а душа в тебе не нашенская. Уговаривать тебя — пустое дело. Я тебе мое последнее слово скажу: сам хоть пылью завейся, а Ольгуньку Лапину я тебе из колхоза увести не дам. С дробовиком выйду на большак, а не пущу! Учти, значится...

Он поднялся из-за стола, суровый и решительный.

— За хлеб-соль тебе спасибо, Петровна, — поклонился он маме. — А ты, Александра, покумекай над моими словами, — добавил он уже с порога. — Я их не для праздного застолья говорил.

ГЛАВА 7

«Штабные чертежники «распяли» моё маневрирование на аршинных диаграммах. Адмирал Мирский со скрипом водил по ним указкой, выскребая тактические просчеты. Я слушал его, не поднимая глаз, и мне казалось, что все сидящие в зале считают меня бездарным выскочкой. Спиной чувствовал я недобрые усмешки старых командиров.

— Ты извини меня, Юра, за грубость, — сказал я старпому после разбора.

— Какие могут быть извинения, — жестом остановил меня он. — Просто я сам некстати полез со своими подсказками...»

Воскресенье ошарашивает тропическим ливнем, который, словно прутьями, стегает по крышам домов и оконным стеклам. Вприскочку несутся с гор мутные потоки. Улицы казарменного городка, где в доброе время соринки не увидишь, покрываются островами щебенки и глины. А пакостники ручьи тащат на себе новые кучи мусора.

Взбаламутилась хрустальная бухта, вода в ней стала нездоровой и желтой, как в стоячем болоте. Дождь льет весь день, не унимается он и вечером, вконец расстроив директора кинотеатра. Зато его коллега и конкурент, заведующий домом культуры, не волнуется: на танцы и в челноках приплывут.

У Кострова тоже пропадает билет на новый кинофильм, но он не огорчен. Серое, затканное косматыми тучами небо, монотонный шелест дождя за окном — все это располагает к домоседству. Углубившись в книгу, он не слышит, как тихонько приоткрывается дверь его комнаты.

— Здравствуйте, дядя командир,— произносит детский голосок, старательно выговаривая букву «р».

— Здравствуй, малыш, — удивленно спохватывается Костров. — Ты кто такой?

— Я Олег, — солидно отвечает мальчик.

На вид ему лет пять. На стриженной под машинку русой головенке топорщится крохотный чубчик.

— Ну, а я — дядя Саша. Да ты не стой в дверях, заходи ко мне в гости.

— А вы будете со мной играть? — осведомляется тот.

— Играть? — смущенно переспрашивает Костров. — А хочешь, я тебе книжку почитаю? Или картинки покажу? На них корабли нарисованы, всякие-разные...

— Хочу, — соглашается малыш, подходя к столу и устраиваясь на стуле рядом с Костровым.

Тот вынимает из шкафа справочник корабельного состава с многочисленными цветными вкладками.

— Это авианосец,— уверенно тычет пальцем в рисунок малец, — а это линкор, а это тральщик...

— Э, да ты, оказывается, все знаешь! — восклицает Костров.

— Мой папа тоже был командир,— говорит Олег.— Только вы старший, а он был младший командир.

— Где же теперь твой папа?

— Он умер, — серьезно отвечает мальчуган. — Всего три дня поболел и умер.

В карих его глазенках такая взрослая тоска, что Кострову становится неловко за невольную свою бестактность.

— Погоди, — говорит он, торопливо выдвигая ящик стола. — Где-то тут у меня была шоколадка. Ты любишь шоколад?

— Люблю. Только угощать меня не надо. Мама не разрешает брать сладости у чужих. Если я захочу, она сама мне купит шоколадку...

Костров лихорадочно соображает, чем бы еще занять мальчугана. Он явно не подготовлен к подобному визиту.

— Оле-жек! Куда ж ты подевался? — слышен из коридора озабоченный женский голос.

— Здесь я, мама! Я у дяди Саши! — откликается мальчик.

— Ага, вот он где, — говорит Алена Григорьевна, заглянув в комнату. — Он не помешал вам, Олесь Владимирович? — справляется она у Кострова.

— Нет, что вы! Мы с ним уже подружились. Правда, Олег?

— Не подружились, а только познакомились, — уточняет тот.

— Вы знаете, — вступает в разговор комендантша, — он у меня в детском садике в круглосуточной группе. Домой его беру только по воскресеньям, и в этот день он везде за мной хвостиком... Сегодня хотели только на минутку в общежитие заглянуть, а теперь хоть ночуй здесь. Вот льет, скаженный! — вздыхает она.

— Я сейчас вызову дежурную машину, — предлагает Костров. — Она вас мигом к дому подбросит.

— Не треба, Олесь Владимирович! — невесть от чего вспыхивает румянцем женщина. — Или у дежурного других дел нету, чтобы нас развозить...

— Ничего, сегодня мой приятель дежурит. Он сделает.

Костров снимает телефонную трубку.

— Чего это тебе в такую непогодь транспорт понадобился? — хмыкает Камеев. — Или свидание назначил? Уж не моей ли жене?

— Друзьям поперек курса не встреваю, — в тон ему отвечает Костров. — А машина нужна мне всего на четверть часа...

— Хорошо, сейчас посылаю.

— Не стоило беспокоиться, Олесь Владимирович, — укоризненно качает головой комендантша. — Дождь-то уже кончается, могли бы и обождать...

Костров инстинктивно задерживает взгляд на ее маленьких, но по-девичьи задорных грудях, на прикрытых до колен выцветшим ситцевым платьем сильных и стройных ногах и отмечает про себя, что Алена Григорьевна по-настоящему хороша. Одеть бы ее помоднее — и хоть на обложку столичного журнала...

Она тоже чувствует его интерес и, преодолев смущение, смотрит на него открытым, чуточку даже дерзким взглядом: знаю, мол, сама, что не уродина!

На улице надсадно гудит идущая на подъем автомашина.

— Ну что ж, Олежка, это за тобой, — говорит Костров мальчугану. — Что бы тебе подарить на память? Понравилась тебе книжка с кораблями? Знаешь что, бери ее себе!

Тот вопросительно смотрит на мать, которая отвечает ему разрешающей улыбкой.

— Спасибо вам, дядя Саша, — говорит малыш. — Я вам тоже что-нибудь подарю. В следующий раз, когда опять приду к вам в гости.

Костров провожает их до самого автомобиля, сажает Олега рядом с шофером, и мальчуган тут же тянет свою ручонку к клаксону. Под пронзительное «би-би-би!» газик исчезает за дождевой пеленой. А Костров долго еще смотрит ему вслед, не замечая, как становится мокрой его непокрытая голова.

Из записок Кострова

Просторный актовый зал, из которого вынесены столы и стулья, стал гулким, как лесная поляна. Нас, выпускников, заводили поротно. Отзвук наших шагов испуганно шарахался от стен.

— Под знамя — смирр-ноо!

Мелодия встречного марша заполонила зал и наши сердца. Звуки волновали, сулили новую, неизведанную и чудесную жизнь, которая будет сплошным триумфом.

Мимо застывших шеренг прошел знаменный взвод училища, выглядевший непривычно в парадной офицерской форме и без оружия. Красно-бело-синие волны ниспадали с древка знамени на лейтенантский погон знаменосца — двухметрового богатыря Александра Щеглова. Ассистентами его шли два золотых медалиста: Юрий Левченко и Борис Щукин.

Оборвал последний аккорд оркестр.

— Слушай приказ! — прозвучал в наступившей тишине взволнованный голос начальника училища. Чувствовалось, что поседелый адмирал переживает не меньше, чем мы — юноши в необмявшихся мундирах. Скольких таких благословил он в самостоятельное плавание по жизни!

Ох, какими долгими казались мне мгновения! Пока начальник училища добирался до одиннадцатой буквы алфавита, перед моим мысленным взором промелькнули целые годы. Вспомнилось, как пришел я пять лет назад прямо с железнодорожного вокзала на военный причал и обратился к вахтенному на проходной с просьбой взять меня во флот. Старшина сначала опешил, а после, расспросив меня подробнее, посоветовал пойти в управление вспомогательного флота. Я послушался и через несколько дней стал палубным матросом рейдового буксира «Бриз». Это закопченное до самых кончиков мачт судно в порту прозвали «вышибалой» за то, что буксир помогал сниматься со швартовов уходящим в море кораблям. Зимой, когда Золотой Рог одевался в ледяную шубу, «Бриз» становился отопителем — давал пар катерам и плашкоутам.

Служба на рейдовом буксире разочаровала меня. Была она незавидной: дальше внутренней гавани мы не плавали, и я с благодарностью вспоминаю капитана «Бриза» Якова Петровича Спицына, который не только сумел удержать меня в экипаже, но и заставил пойти учиться в вечернюю школу. А следующим летом он самолично отнес мои документы в приемную комиссию военно-морского училища.

Обветшавший буксир вскоре списали на слом, а его капитан перебрался на жительство в строящийся порт Находку. Как мне хотелось теперь пожать загрубевшую от мозолей руку Якова Петровича!

Адмирал уже называл фамилии на «к», а в моей го-

лове застряла дурацкая мысль: вдруг меня пропустили в приказе?

И вот наконец: «Костров Александр Владимирович назначается командиром минной группы на подводную лодку «Л-9» Тихоокеанского флота...»

Вмиг полегчало на душе, лишь холодная струйка пота продолжала змеиться меж лопаток.

Еще через полчаса распустили строй. Шумными ватагами слонялись мы по актовому залу, тормоша и окликая друг друга.

— Камчадалы! Эгей, камчадалы! Все в левый угол!

— Сахалинцы! Собираемся возле колонны!

— Североморцы где? Куда североморцам?

— Тут мы! Двигай сюда, Барсуков!

Ко мне подошел Юрий Левченко. Он немножко свысока поглядывал на лейтенантский муравейник потому, что собственная судьба ему была известна уже давно. Как медалист он имел право выбора флота и корабля. Утром я чуточку задержался перед мраморной доской в вестибюле училища, на которой свежим золотом сияла его фамилия.

— Ну что, Сандро? — обнял меня Юрий за плечи. — Угодил, значит, в «семейную» базу? А ты знаешь, что в ней действует «сухой» закон?

Сам он отправлялся служить на Черноморский флот, и не солнечными ваннами соблазнило его «мандариновое» море, а просто он хотел самостоятельности. На Тихом океане служил его отец, на Севере — родной дядька, а в Ленинграде жил дед, отставной адмирал и влиятельный член Комитета ветеранов войны.

Я слегка завидовал его самоуверенности. Все у него было распланировано далеко вперед: год командиром группы, два года на боевой части, три года старпомом, потом командирские классы и не позже чем в тридцать лет — военно-морская академия... Вот уж у кого, действительно, был маршальский жезл в ранце!

— Зато тебя ожидает сухое вино, — шуткой на шутку ответил я Юрию. — В тех краях его, говорят, вместо воды пьют.

Я не очень раздумывал над тем, далека или близка от железной дороги моя «семейная» база, которую прозвали так за то, что располагалась она в двух бухтах, похожих на влюбленную пару. Впереди у меня было

целых пять отпускных недель, а в кармане тужурки — воинские требования на билет до Новосибирска и далее пароходом вниз по Оби. Я уже гадал, на какой из рейсов угожу: на «Абакан» или на «Красный Партизан»? К временной пристани в Борках швартовались только эти два колесных ветерана. Новые теплоходы проходили транзитом мимо.

Правда, надо было закруглить и кое-какие училищные дела. В последний раз наш четыреста одиннадцатый класс собрался вместе, чтобы исполнить коллективную волю: разыграть по жребию классный магнитофон. Покупали его в складчину еще на втором курсе и тогда же условились после выпуска подарить его первому женатику. В ту пору все мы были убежденными холостяками и не предполагали, что на магнитофон окажется сразу семеро претендентов. Кому из них отдашь предпочтение, если даже свадьбы назначены на один и тот же день?! И «нарушители конвенции» под смешки и шиканье остальных нехотя тянули жребий.

Что касается меня, то я не подтрунивал над женихами, держа молчаливый нейтралитет. И втайне намеревался стать восьмым.

Всю последнюю зиму я писал Оле длинные и путаные письма, перемежая курсантские новости с планами на будущее и неумелыми стихами, вроде:

Кисеею солнце занавесив,
Мгла стоит, как ватная стена.
Я тайком грущу, и верь, Олеся,
В моем сердце только ты одна...

Я не ходил в увольнения. К театрам я так и не привык, а кинозал училище имело свой. Можно было перелистать книгу увольняющихся за целый семестр и не обнаружить моей фамилии.

Я стал своего рода достопримечательностью курсантской роты после одного казусного случая. Командира нашего, капитана третьего ранга Бейлера, прозванного «папашей» за постоянную, порою нудную заботу о курсантской пастве, не на шутку встревожило мое затворничество. И он пригласил меня в кабинет.

— Почему вы никогда не ходите в город, курсант Костров? — спросил он, собрав над переносицей кустистые брови.

— Не имею желания, товарищ капитан третьего ранга! — бодро отрапортовал я.

— Как не имеете? Отчего не имеете? Кто вам позволил не иметь? Может, вы и в столовую не пожелаете идти? — Когда «папаша Бейлер» сердился, он начинал частить, забавно повторяя одни и те же слова.

— Я знаю устав, товарищ командир, — вскинул голову я.

Нашему «папаше» очень нравилось, когда его называли командиром. Может, оттого, что он никогда не служил на кораблях. Но на этот раз я его не подкупил.

— Старшина Лебедев! — крикнул он в коридор.

— Есть, товарищ командир! — откликнулся из канцелярии ротный старшина.

— Ко мне зайдите.

Когда Лебедев явился, капитан третьего ранга ткнул пальцем в мою грудь:

— Видите этого курсанта? Знаете вы этого курсанта? Слушайте внимательно: в субботу выпишите ему увольнительную записку и лично выведите за КПП. Предупредите дежурную службу, чтобы не пускали его обратно до конца увольнения. Ясно вам? Понятно вам?

— Так точно, товарищ командир! — гаркнул Лебедев, пряча улыбку.

— Понял, лорд Байрон? — сказал он мне за дверью.— Выпроводим тебя за ворота с почетным эскортом. Гордиться должен!

Лебедев был компанейским парнем. Вскоре все его дружки знали о сенсационном приказании «папаши Бейлера». Забавная новость обрастала подробностями.

В субботу после ужина не одна пара любопытных глаз наблюдала за моим выводом.

— Чуешь, Костров, — серьезно напутствовал меня Лебедев,— ты гляди не ошалей да не женись на первой смазливой девчонке. Обходи их сторонкой, подальше от греха...

Я лишил его удовольствия еще раз позубоскалить вечером. Отойдя метров на сто от КПП, я махнул обратно через высокую чугунную ограду.

Еще раз вспомнил я этот эпизод, когда на выпускном балу увидел «папашу Бейлера», хмельного и добродушного, в окружении кучки горластых лейтенантов.

— Подьте-ка сюда, Костров! — поманил меня пальцем командир роты. — Тут мореманы эпиграмму на меня про-

чли, — указал он на бывших своих подопечных, сгрудившихся возле. — Но не говорят, кто ее сочинил. А я знаю, что это ваших рук дело, лорд Байрон! Вы всегда что-то пописывали. Бейлер про каждого из вас все знает! И за то, что в папаши меня произвели — я не в обиде. Ни в коем случае! Хочу только, чтобы и вас ваши подчиненные называли отцами!..

ГЛАВА 8

«Опять напомнил о себе Генька! Нагрубил боцману Тятько, обозвал его сундуком, когда тот отказался заменить матросу прохудившуюся робу.

— Другие годами носят, — возмущался мичман. — А этот за три недели спустил с плеч!

Пришлось объявить Геньке три внеочередных наряда. В сумятице буден я как-то совершенно упустил его из виду. Надо серьезно с ним поговорить...»

Войдя в строй, «тридцатка» раздружилась с причалом. Едва обтянут на ней швартовы, как командира приглашают к телефону.

— Механизмы в строю, Владимирыч? — журчит ему в ухо медовый голос оперативного дежурного. — Молодцом! Я там тебе газик к причалу подкинул. Дуй в ОВР на инструктаж: завтра с ними работаешь.

Через полчаса Костров уже в штабе противолодочников.

— Сашка, шельмец! Рад тебя видеть, дружище! — встречает его комдив Вялков. Тискает в объятиях, шутливо поддает кулаком под бок. — Ну и удивил же ты меня в прошлый раз своим семафором! Давно здесь?

— Без году неделя, — улыбается Костров.

— Я тоже всего с прошлой осени. Попал сюда после академии. А раньше заполярные губы обживал. Сколько же мы не виделись? Одиннадцать лет! Подумать только! А давно ли были рысаками? Стареем, Сандро, неумолимо стареем. Хотя ты почти не изменился. Вас, жилистых, время не берет. Рассказывай: жена, дети есть?

— Пока обхожусь, — говорит Костров. — Холостому меньше забот.

— Но-о, загибаешь, старик! Если мужику за тридцать перевалило, ему присмотр нужен. Возраст свое берет...

Самого Вялкова годы не пощадили. Костров смотрит на его раздобревшее тело, на залысины у висков и вспоми-

нает стройного гривастого курсанта, первого кавалера на танцах и первого едока за ротным столом.

— Зато я по самую ватерлинию семейной ракушкой оброс, — скорбно трясет головой Вялков. — Сыну Мишке одиннадцатый, дочери Маринке скоро шесть. Жену мою ты должен знать. У нас на факультете работала. Да я же при тебе женился.

— А как наш классный магнитофон, еще служит тебе? — смеется Костров.

— Что ты! Мой Мишка его давно уже на запчасти разобрал!

Перебивая друг друга, они пускаются по волнам воспоминаний.

— А помнишь, Саша, первый курс, практику на Амурской флотилии? Когда нашу канлодку замаскировали в кустах возле берега, а мы с Тимкой Катиным боярышником объелись? Я тогда сутки перемаялся и в себя пришел, а Тимку в лазарет сволокли.

— Кстати, ты не знаешь, где теперь Тимофей?

— Замели в миллион двести.

— Демобилизовали?

— Тогда немало толковых ребят разлучили с флотом.

— Да, грустные были времена...

— Про Эдьку Лохматова слышал, Саша? Всех нас переплюнул. Первым из выпуска в академию попал, а теперь, говорят, выбился в начальники штаба соединения! А ведь в училище был середнячком. Хотя правду говорят, что цыплят по осени считают. Вот Юра Левченко стипендиатом был, гордостью училища, а до сих пор в старпомах ходит.

— Побольше бы, Миша, таких старпомов, как он!

— А что все-таки с ним стряслось? Может, зашибает лишнее?

Костров долго обдумывает ответ на его вопрос.

— Помнишь, Миша, зимой сдавали мы на Океанской лыжные кроссы? — спрашивает наконец он. — Со старта валили кучей, потом постепенно растягивались гуськом по лыжне. Но до самого финиша неизвестно было, кто первым придет. Вот и теперь так же, дорогой комдив! Путь у всех нас еще дальний...

— Ой, не говори! Теперь без академии далеко не прыгнешь! Сейчас наступило время правой стороны груди.

— Какой стороны? — переспрашивает Костров.

— Правой, той, на которой носят значки об образовании. Это раньше можно было на правой стороне ничего не иметь, лишь бы на левой орденские колодки были в несколько рядов.

— Это что, твоя собственная теория? — усмехается Костров.

— Это не теория, это — жизнь! Тебе тоже надо в академию поторопиться, если хочешь дотянуть хотя бы до трех звезд на двух просветах...

— Ты стал честолюбивым, Мишель, — усмехается Костров. — Раньше за тобой этого не замечалось.

— Все мы человеки, Сандро. И нечего душой кривить, прикидываться бессребреником. Ведь каждому хочется в чем-то опередить другого!

Доклад начальника штаба прерывает их разговор. Командиры собраны в тактическом кабинете.

Инструктаж затягивается надолго. Много вопросов у противолодочников, не все ясно в задании и Кострову. Шабашат затемно.

— В гости тебя не приглашаю, — говорит Вялков на прощание. — Супружницу мою в женсовет выбрали. Сам теперь нередко без ужина остаюсь! — Он заливисто хохочет, показывая золотые коронки. — Когда женишься, Сандро, держи жену подальше от общественной работы. Не то станет в чужих семьях мир наводить и про свою забудет!

На обратном пути Костров заглядывает на лодку. Вахтенный у трапа докладывает ему состав заступившей смены. Костров спускается вниз и проходит прямо в приборный отсек.

Генька стоит перед командиром, большой и несуразный, в заляпанном суриком комбинезоне, опустив глаза и набычась, — словом, в той позе, которую мичман Тятько терпеть не может.

В приборном отсеке витает тонкий, едва уловимый запах эмалевой краски. Безликие и похожие друг на друга, как близнецы, отдыхают под чехлами блоки счетно-решающего комплекса. Мысленно Костров окрестил их именами великих ученых. Автограф глубины — Архимедом, гирокомпас — Галилеем, автомат дальности — Лобачевским. А центральный прибор, завершающий труд своих собратьев, — Эйнштейном.

Тысячи лет проникали люди в тайны природы, гнили

в тюрьмах и горели на кострах, чтобы все электроны, ионы и протоны стали послушны простому деревенскому парню Геньке Лапину. Неужто он сам этого не понимает?

— Ты не забыл, что я поручился за тебя, Генька? — негромко спрашивает Костров матроса.

Тот неопределенно пожимает плечами. Неясно, как понимать его жест. Либо «ну и что?», а может, даже «кто тебя просил?».

— Я сполняю все, что мне приказывают, — мямлит Генька.

— Ну да, «сполняешь», — передразнивает Костров. — Как тот колодезный журавель: если его наклонят, он зачерпнет водицы...

Матрос снова дергает плечами, полуулыбка-полуусмешка кривит его губы.

— Служу, как могу. Из кожи лезть не умею...

— Слушай, Геннадий, — стараясь скрыть раздражение, говорит Костров. — Я пришел к тебе не как командир, а как старший товарищ. И ты мне своих баек не рассказывай. Меня ты ими не проведешь. Скажи мне лучше, что тебе мешает служить?

— Ничего мне не мешает.

Генька сдвигает брови, и на лбу его прорезывается морщинка, точь-в-точь как у Ольги.

— Вот как?! — удивленно восклицает Костров. — Так какого рожна ты дурака валяешь?

Матрос молча теребит бретельки на чехле «Эйнштейна». Костров терпеливо ждет.

— Не знаю, поймете ли вы меня... — наконец произносит Генька. — После восьмилетки меня Ольга в техникум определила. В строительный, его в Сорочьем уже после вашего отъезда открыли. И только я его закончил, как сразу же повестку принесли. Военком присоветовал стройбат. Квалификацию, мол, повысишь. Заработок опять же будет, скопишь деньжат. После службы пригодятся. Может, он мне в самом деле добра хотел, да не послушался я. На рожон попер: не хочу в стройбат, посылайте во флот! Не пошлете — жалобу настрочу самому министру...

Незаметно оттаял Генька, стерлись угловатые линии на лице, исчезла нарочитая небрежность в позе.

— Хотите знать, товарищ командир, откель я такой блажи набрался? Из ваших писем.

— Моих писем? — озадаченно переспрашивает Костров. — Вроде не писал я их тебе.

— Ольгухиных, конечно. Подглядел я, куда она их прячет... Теперь-то понимаю: паскудным делом занимался. Но в ту пору мне четырнадцати не было. А вы больно уж складно про море писали. Про чайные клиперы, пакетботы, дальние плавания...

Костров неприятно задет Генькиным признанием. Едва сдерживая гнев, он неприязненно смотрит на матроса.

— Ну и что, — с усилием произносит он, — обманули тебя мои письма?

— Выходит, что обманули.

— Чем же?

А тем, что службу матросскую в павлиньи перья обряжали. Я и впрямь поверил. Сюда ехал — мне каждую ночь тропики снились, бананы, Южный Крест. А приехал в экипаж, мне метлу в зубы — и двор мести... А я дома́ строить умею. Да еще начальничек такой попался, мичман Синицын, у самого и семилетки нет за плечами. Потом на смену ему майор Сиротинский, а теперь вот ваш мичман Тятько...

— Но ведь боцман справедливо требует.

— Требовать-то требует, да только за матросской робой человека не видит...

Из записок Кострова

В Новосибирске я почти сутки ждал парохода. В городе хозяйничала осень. Над крышами домов сочилось серое, безрадостное небо, улицы покрылись осклизлым свинцовым налетом.

Я перебрался с железнодорожного вокзала на речной и бесцельно бродил по этажам, разглядывая многочисленных пассажиров. Если бы не это муторное ожидание, заявился бы я в Костры обычным порядком, нежданно-негаданно. Но, бессчетный раз проходя мимо почтового отделения, я не выдержал и отбил маме телеграмму.

Дождь не унялся и потом, когда «Абакан», гулко шлепая плицами колес, потащил меня вниз по течению матушки-Оби. Река была покрыта белесой сыпью пузырей, на глинистых ее откосах зябко сутулились мокрые сосны. Иногда моросун припускал, оборачивался ливнем,

тогда через палубу и надстройки старенького парохода неслись потоки ошалевшей воды. Хрипели и сипели сливные шпигаты.

Раз дождь сыпанул вперемежку с градом. Я высунул в иллюминатор руку и поймал на ладонь несколько скользких холодных горошин. Вспомнил, как мальчишкой глотал их целыми пригоршнями. Говорили, что стоит летом наесться града, зимой никакая простуда не возьмет. Я верил этому и, может, оттого ничем не болел, впрочем, как и другие мои деревенские приятели.

Мне надоело сидеть в тесной каюте. По нескольку раз на дню наведывался я в пароходный буфет, где продавали прогорклое пиво и сосиски из козлятины, — видать, фирменное блюдо «Абакана». Я не спеша опорожнял пивную кружку и слушал радиолу, которая была такой же обшарпанной, как и сам пароход. Заигранные пластинки горкой громоздились в картонном паке, пассажирам предлагалось самим услаждать себя музыкой.

Знакомых не было. От помощника капитана я узнал, что в Борках схожу один, потому к пристани «Абакан» швартоваться не будет, на берег меня свезут шлюпкой.

— Уж больно ершанистая в твоих Борках стенка, — оправдывался помощник.— Неаккуратно прислонишься — шлицы поуродуешь...

Он был немного старше меня и с завистью поглядывал на мою флотскую фуражку. Потом, наберясь смелости, поклянчил у меня «настоящего морского краба». Но офицерское приданое мое было небогатым, а фуражка и вовсе одна, и уважить его просьбу я не мог.

К Боркам подошли под вечер. Просипев гудком, «Абакан» отдал якорь на стрежне реки. Все так же полосовал «сеногной», и помощник капитана вынес мне плащ.

— Хучь и пожалел ты «краба», — подмигнул он мне,— однако мы с тобой одного водяного племени. На, держи дождевик. Отдашь потом гребцам.

К пристани меня доставили сухим. Одного я не учел — распутней сибирской грязи. Едва ступив на берег, я увяз в ней по самые щиколотки.

На выручку ко мне из-под дощатого навеса торопилась мама.

— На-ка, переоблокайся, сынок, — подала она мне резиновые сапоги.

Мама встречала меня не одна. Следом за ней разма-

шисто шагал, выдергивая ноги из топи, председатель Иван Гордеевич. А чуть поодаль маячил колхозный газик-вездеход с брезентовым верхом.

Председатель не держал на своей машине шофера. «Не велика персона,— посмеивался он,— чтоб колхозным трудоднем шиковать». Он самолично крутил баранку и газик свой держал у себя во дворе, приспособив под гараж бывший коровник. Хозяйства у Гордеича давным-давно не было. «Кто таков председатель, — любил говаривать он, — кто? Это вожак трудового крестьянства. А вожаку негоже увязать в болоте частной собственности!»

Правда, подражать себе никого не принуждал. Понимал, что трудно пока колхознику прожить без коровушки и огорода.

Семьдесят километров одолевали долго. Газик, фырча, выдирался из колдобин, иногда приходилось покидать теплую и сухую кабину, чтобы подложить сушняку под колеса. Брезентовый верх машины весь заметало грязью.

— Ничего, Владимирыч! — через плечо поглядывал на меня председатель. — Годок-другой еще помаемся, а там покроют нам большак асфальтом. В Сорочье уже тянут шоссейку, приспеет и наша очередь.

Он говорил со мной так, будто всего на неделю отлучался я из деревни. Словно буднями мотаюсь по здешним разбитым дорогам. Слушая его, я невольно хмурился, подсознательно чувствуя за собой вину. А в маме, затихшей на сиденье возле меня, сердцем угадывал председателеву союзницу.

Дождь не унимался. На ветровом стекле газика набухали лобастые капли и обрывались вниз, оставляя за собой извилистый след. Электрического «дворника» на машине не было, Иван Гордеевич то и дело высовывался наружу, елозил по стеклу тряпкой.

Вдали засинели наши костровские кедровники. Раскинулись они на нескольких десятках гектаров, и все эти гектары вкривь и вкось исполосованы тропинками. Стежили их и грибники, и шишкобои, и влюбленные. Уверен я, что ни в одном самом знаменитом заповеднике красоты такой не увидишь. Качают кудлатыми вершинами зеленые великаны кедры, на пролысинах между ними расфуфырились, как девицы в пестрых сарафанах, лесные модницы — рябина и калина. А вся земля вокруг полыхает огневицей костяники и брусники. В лесу стоит

нескончаемый птичий гомон. По деревьям снуют дотошные белки. Когда сговорились люди — никто не помнит, однако не разоряют здесь птичьих гнезд и беличьих дупел. Только в зазимки, пугая лесных обитателей, стучат по стволам кедров деревянные кувалды. Хороший доход приносит колхозу шишкобой. Орехи наши славятся на всю округу. Ядрены они и маслянисты, редко нападает на них порча.

— Слыхал, Владимирыч, — повернулся ко мне председатель, когда газик поравнялся с кедровниками, — пропал нынче у нас целый косяк плодового кедра. Может, молния шибанула или огня не загасил после себя какой-нибудь растяпа. Вот тут неподалеку был пожог, возле Боярышной пади.

— Постоим чуток, Иван Гордеич? — попросил я. — Хочу одним глазом взглянуть.

— Промокнешь только зазря. Али твоя это беда? Ты теперь гляди, чтобы море твое не запалили, — усмехнулся председатель.

Но машину остановил. И пошел вместе со мной через падь. Пожог темным клином врезался в зеленое озеро кедровников. Обугленные деревья стояли, как скелеты, протягивая к небу головешки ветвей, будто слали проклятье своему погубителю. Возле корневищ серел толстый слой прибитой дождями золы.

— Сколько тут колхозного добра фукнуло, — тяжело вздохнул председатель. — Весной будем выкорчевывать мертвяков, после делянку молодняком засеем. Только жди, когда снова встанут тут кедры! Нашего веку не хватит...

Чавкая сапогами по намокшей траве, мы вернулись к машине и остаток пути проехали молча. Каждый думал свою думу.

Олеся примчалась, едва только отошла от наших ворот председателева машина. Оставив чеботы на крыльце, вошла в горницу. Серебряные дождинки поблескивали в ее непокрытых волосах. Мама засуетилась, схватив подвернувшееся ситечко, поспешила к двери.

— Куда ж ты, мам?

— Той же секундой оборочусь, сынок. В погребушку мне надо...

Больше ничего не сумел я произнести оттого, что перехватил мне дыхание Олин поцелуй.

Словно в мою честь, назавтра разведрило. Утром про-

глянуло нежаркое осеннее солнце, от взопревшей земли языками потянулся туман. Я поднялся с зарей. Почистил и отутюжил свою парадную форму, гладко выбрил щеки. Знал, что не заставят себя ждать ранние гости, а перебывает в нашей избе добрая половина села.

Так оно и вышло. Вереницей потянулись к нашей калитке многочисленные родственники, крестные и сваты. Даже древние старухи, те, что сиднем сидят на завалинках возле своих изб, приволоклись «одной прищуркой» глянуть на отпускника.

— Лександра, а Лександра, — прицепилась ко мне бабушка Перфильевна.— Ты кто будешь по-старому-то? Адмирал, чо ли?

Перфильевна — не только история, но и география наших Костров. Избенка ее приютилась на околице, и, когда говорила костровская тетка такие слова: «Надысь своих гусей искала. Прорысила ажник от Перфильевны до Еремея», — это означало, что прошла она из края в край все село.

— Высоко берете, бабушка Перфильевна! — ответил я любопытствующей старухе. — Мне до адмирала — что кутенку до борзого кобеля. Лейтенант всего мое звание.

— Литинан? — недоверчиво переспросила она. — Весной нонесь Петюшка Сурков на побывку приезжал. Тоже литинан, баяли. А сюртук у него совсем другой был. И ножище сбоку не болтался.

— Все правильно, бабушка, — терпеливо объяснял я. — Петька — зенитчик, то есть сухопутный лейтенант. А я лейтенант корабельного состава военно-морского флота. Вот потому у меня нашивки на рукавах, а у Петьки Суркова их нет. И кортика тоже.

— То-то оно и есть! — невесть с чего вдруг осерчала Перфильевна. — Все вы ноне неуемные стали. Чуда вам заморские подавай! А на селе скоро и погост прихорошить будет некому! Нос дерете от родных мест, будто баре. Девки вам наши, костровские, негожи стали. Тилигентских вам подавай! А что в них баского, в тилигентских-то? Петюшка — дык такую чучелу привозил, смотреть тошно. На голове колтун, глазищи, как у нечистой, сажей размалеваны, платьишко едва срам прикрывает. А мужику свому небось горшка щей сварить не умеет...

— В городах, бабушка, столовые на каждом углу, — пряча улыбку, сказал я. — Еда там на всякие вкусы.

А женщины раскрепощаются от кухни. Эмансипацией это называется.

— Тьфу на вас! — вконец обозлилась старуха, будто услышала от меня матерное слово. — Испокон веку бабы за мужьями ходили, а ноне все перевернулось. И сами вы, мужики, виноваты, что жены вами помыкают!

ГЛАВА 9

«Сегодня размышлял о соотношении техники и человека на современном флоте. Слов нет, техника стала настолько совершенна, что диву даешься. Она, как говорится, уже на грани фантастики. Только без движущей силы человеческого разума она по-прежнему ничто. Пусть когда-то корабли станут полностью автоматическими, все равно программу им будут задавать люди. Техника и люди взаимно влияют друг на друга. Новая техника формирует человеческую психику. Ныне на смену матросу-работяге пришел матрос-интеллектуал, и командовать им гораздо труднее...»

Костров намеревался прорваться к заданному району с юга. Соблазняли подходящие глубины, сулившие свободу маневра и безопасность от донных мин. Но «тридцатке» не удается даже подвсплыть для доразведки обстановки.

— Слышу работу гидролокатора! — неожиданно докладывают из акустической рубки. — Тон эха слабый!

«Этого нам только не хватало! — мысленно восклицает Костров. — Опередил-таки хитрюга Вялков! Не зря, видать, его в академии учили».

Прикинув на планшете курс уклонения, Костров командует рулевому отворот. Потом собирает в центральном посту «военный совет»: командир, старпом, штурман и замполит.

Все четверо склоняются над разведкартой, на которую Кириллов уже нанес координаты обнаруженной поисковой группы.

— По предварительным данным, в этом районе кораблей «синих» не должно быть,— говорит командир.— Вопрос ко всем: откуда они взялись? Лично мне кажется, что Вялков перебросил сюда один из своих подвиж-

ных дозоров. Если так, то который? Ваше мнение, старший помощник?

Левченко покусывает губу и не спешит с ответом.

— По-моему, снят вот этот дозор, — наконец тычет он в карту длинным ногтем безымянного пальца. — Расчет прост: северо-западный участок района в радиусе действия противолодочной авиации. Это во-первых. А во-вторых, пока мы будем грести туда в подводном положении, МПК успеют пролопатить здешнюю южную кромку и вернуться назад.

«Умница», — мысленно восхищается его интуицией Костров.

— А ведь в самом деле логично! — цокает языком Столяров.

— Ваше слово, штурман, — говорит Костров.

Кириллов молча гоняет по карте голенастый измеритель.

— Не успеваем к северо-западу, товарищ командир, — закончив подсчет, отвечает старший лейтенант. — Экономическим ходом больше полсуток.

— Значит, так, — подытоживает командир. — Мнения резко разделились. Старпом и заместитель предлагают переместиться к северо-западу, штурман за прорыв охранения отсюда, с юга. Давайте прикинем наши шансы на успех в обоих случаях. Здесь нас, возможно, уже обнаружили. Временная потеря контакта не в счет. Вызовут еще корабли, а то и дальнюю авиацию. Нашвыряют акустических буев и загонят нас, как селедку в сети. Устраивает вас такой вариант, штурман?

— Бабушка надвое сказала, — с вызовом глядит на старших Кириллов. — Может, загонят, а может, и нет. Да и мы не селедки, чтобы прямо в ловушку лезть. Риск, конечно, есть, но идешь по дождю — не бойся замочиться!

— Или, как говорили раньше, грудь в крестах, либо голова в кустах? — улыбается Костров. — Только, штурман, риск не должен быть зряшным, в этом самое главное. Теперь проанализируем первое предложение, — снова склоняется он над картой. — Коли нас обнаружили здесь, то меньше всего теперь ожидают там. Верно? Но в одном штурман прав: подводным ходом мы не успеем к назначенному времени удара. Вот тут-то и следует рискнуть: всплыть и на полном ходу форсировать добрую по-

ловину пути. Этот риск я с удовольствием утверждаю! — заканчивает он, сворачивая карту в рулон. — Всплывать будем, как только стемнеет. А пока на румб двести семьдесят градусов!

«Тридцатка» вздрагивает и медленно валится на борт в обратную сторону поворота.

— Я буду в каюте, — говорит Костров старпому. — Если засну, разбудите меня через пару часов.

Минутой позже он с наслаждением вытягивает ноги на кургузом диванчике. Слегка побаливает затуманенная бессонницей голова, но неистребима многолетняя привычка читать перед сном.

Он берет с подвесной полочки томик и, еще не раскрыв его, улыбается каким-то своим мыслям. Книгу он взял в городской библиотеке, а когда возвращался оттуда домой, навстречу попалась колонна малышей из детского сада. С лопатками и ведерочками в руках они шли чинно, по двое, держа друг друга за ручонку. Две воспитательницы — одна возглавляла, другая замыкала строй. И вдруг из середины его вырвался мальчик в замшевой курточке и полотняном картузике.

— Дядя Саша! Дядя Саша! — радостно завопил он, подбегая к Кострову.

— Здравствуй, Олежек! Ты чего это порядок нарушаешь?

— Я не нарушаю. Это я вас увидел.

К ним уже спешила одна из воспитательниц.

— Вы родственник Олега Стороженко? — осведомилась она.

— Это дядя Саша, командир, — гордо ответил ей мальчуган.

— Мы возвращаемся с прогулки, — сказала Кострову воспитательница. — Ужинаем мы в шесть тридцать. Можете погулять с племянником, только пусть он не опоздает в столовую.

— Я не опоздаю, Земфира Львовна, я вовремя приду! — заверил ее Олег, обрадованно глядя снизу вверх на Кострова.

— Так что мы будем делать? — спросил тот. — Мороженое есть?

— Я не люблю мороженое, — заявил Олег.

— Первый раз встречаю мальчика, который отказывается от мороженого! — удивленно воскликнул Костров.

— Раньше я тоже ел, а теперь у меня горло болит, — смущенно оправдывался малыш.

— Ну тогда мы с тобой пойдем в «Детский мир».

— Хорошо, дядя Саша.

В магазине Костров накупил целую охапку заводных игрушек.

— Это кому? — растерянно спросил Олег.

— Тебе, тебе, — сказал ему Костров.

— А можно, я их лучше в детский сад отнесу? — осторожно спросил мальчик. — Мама говорит, что одному играть в игрушки нехорошо, надо, чтобы ими все дети играли.

— Ну, разумеется, ты можешь отнести их туда.

На пути им попадается киоск с канцелярскими товарами, после которого Олег становится обладателем коробки цветных карандашей и альбома для рисования.

— Можно, я нарисую здесь подводную лодку? — опять задал он вопрос.

— Ну конечно! Рисуй все, что захочешь.

Возле ворот детского сада они расстаются закадычными друзьями.

— А вы придете к нам домой в воскресенье? — интересуется Олег.

— Ну, если буду свободен, — смущается на этот раз Костров.

Из записок Кострова

Среди ночи кто-то затарабанил в пожарную рельсу. Проскакал вдоль села верховой, стуча кнутовищем в слепые окна. И сразу ожила деревенская улица, тревожно засуетился, загалдел разбуженный народ.

Я соскочил с кровати, засветил керосиновую лампу. Электроэнергию в Кострах давали только до полуночи, после машинист останавливал локомобиль и заваливался на боковую. Спросонья я не мог взять в толк причину суматохи. Пожар? Но откуда ему взяться, коли на улице снова кропит дождь?

Мамы в горнице уже не было. Исчез с крюка возле двери ее брезентовый дождевик. Торопливо одеваясь, я бросился вон из избы. В сенях лоб ко лбу столкнулся с мамой.

— Что там стряслось? — спросил я.

— Беда, сынок, — ответила она, отряхивая плащ.— Плотину размывает. Мельник Кудиныч чегой-то натворил. Мужики всем миром к мельнице валят, пролом латать. А ты чего всполошился? Спи давай, до рассвета еще далеко.

— Дай-ка мне, мама, плащишко!

— Чего еще вздумал? Или без тебя управиться некому? — сопротивлялась мама.

Но я уже выдернул из ее рук дождевик.

— Куда ты, шальной? — вдогонку крикнула мама. — В речку хучь не лезь, испростынешь!

Село Костры стоит на косогоре, паводки ему не страшны, зато в понизовках мечут в стоги колхозное сено. Унесет его половодьем — туго придется скотине.

Я прибежал к запруде почти последним. На обоих берегах Быстрянки толпился народ. На плотине уже зажглись электрические фонари — механик запустил локомобиль. В затопе возле мельничных шлюзов крутились плоскодонные лодки.

Я выбрался на гребень плотины, встал рядом с председателем Иваном Гордеевичем, который, перегнувшись вниз, кричал кому-то:

— Ну чего там, Се-е-мен?!

— Неясно пока! — отвечали с лодок. — Похоже, дыра в самом дышле плотины. Вода бурчит — страсть!

— А, Владимирыч! И ты тут, — увидел меня председатель. — Вишь, земляк, одна беда за другой следышком ходит. Не приведи леший, доберется вода к уметам, а в них половина укоса.

— Семе-ен! Семе-е-ен! — вновь приложил ладони ко рту Гордеич. — Нащупали дыру?

— Не вышло пока! — кричали в ответ. — Шест затянуло!

— Тьфу, растяпы полорукие! — ругнулся председатель. — Придется самому глянуть. Эге-гей, внизу! Пошлите лодку к берегу!

— Можно и я с вами, Иван Гордеич?

— Куда? — зыркнул он очами. — В лодку чо ль? Пошли, коли вывернуться не боишься.

Председатель грузно зашлепал по лужам, обдав меня каскадом брызг.

Утлый дощаник погрузился по самую кромку бортов. В лодке, выставившись наружу, как удочки, лежали две

длинные жердины, а на веслах сидел избач Ефим Сергеев. Он даже не кивнул на мое «здравствуй», молча гребнул веслом и направил лодку наискось течению.

— Углядели чего-нибудь? — спросил его председатель. — Сваю вывернуло али насыпь промыло?

— Сваи вроде целые, — нехотя разжал губы Ефим.— Промоина где-то промеж ними, а где — не разобрать. Коловерть такая, что шеста вдвоем не удержать.

Вблизи плотины дощаник подхватило и понесло. Ефим изо всех сил тормозил веслами, однако лодка с хряпом ударилась о сваю. Обе жерди свалились в реку.

— Вижу, из этого рая не выйдет ничего! — в сердцах загнул Гордеич. — Водолаза бы сюда, да не водятся в наших краях водолазы!

— Веревка найдется? — пошарил я ногами по дну лодки. — Привязаться на всякий случай. Попробую нырнуть.

— Погодь, Владимирыч. Сядь, — остановил меня председатель.— Не дело ты затеваешь. Затянет в пролом, и поминай как звали... Да и водица не та, что в петровки.

— Я здорово ныряю, Иван Гордеич, честное слово! У меня первый разряд по плаванию, — соврал я для пущей убедительности.

— Ты гость, тебе нельзя рисковать. Случись что, какой ответ твоему начальству дадим? По безголовью своему, мол, загубили парня?

— Можно, я прыгну? — вдруг сказал молчавший дотоле Ефим. — Плаваю я тоже подходяще, а плакать по мне некому.

— Эгей, Семен! — окликнул Гордеич гребца соседней лодки. — Мотнись-ка к берегу, — скомандовал он. — Скажи, чтобы быстро приволокли два тулупа. Постой! Еще Матрене-лавочнице передай, пусть доставит быстрехонько две бутылки водки. Понял? Тогда греби побыстрее, Семен!

Отправив дощаник, председатель скомандовал уже нам:

— Оба раздевайтесь. Пока один ныряет, второй будет на выручке сидеть.

Холодный дождик крапивой стеганул по голым плечам.

— На кой ляд ты исподницу, или, как она там у вас зовется, тельняху-то, снял? — глянул на меня Гордеич.—

Напяль ее обратно. Помешать она тебе не помешает, зато душу согреет. Так и ныряй в трусах и тельняхе.

С подоспевшей лодки кинули полушубки.

— Прикройся, Владимирыч, — протянул мне один из них председатель, — очередь твоя вторая. Готов, Ефим? — спросил он избача. — Случай чего, дергай сильней веревку, знак будет, что надо тащить тебя наверх.

Ефим неуклюже перевалился через борт, едва не опрокинув дощаник. Плюхнулся животом, лягнул худыми ногами и скрылся под водой. Веревка сначала змеей сучилась за ним, потом натянулась струной.

Выручать Ефима не пришлось. Через полминуты он вынырнул сам. Иван Гордеевич затянул его в лодку, запахнул на тощей груди полушубок. Зубы Ефима выбивали дробь о горлышко бутылки: продавщица второпях не прислала стакана.

— Как обручем всего перепоясало, — сказал, отдышавшись, избач, — зато углядел я дыру, председатель. Не шибко велика, как чело у печи. Каменьями можно забутить, только добро понырять придется.

— Эй вы, там, на плотине! Кузьма, Силантий! Быстро снаряжайте подводу за кирпичом! Да мужиков помоложе соберите, которые воды холодной не боятся! Поня-я-ли? Шевелитесь!

На рассвете воду уняли. Лишь небольшой мутный ручеек просачивался между свай и, сливаясь с дождевыми потоками, падал в озерцо у подножия плотины. Стога остались на сухом месте, до них вода не успела достать.

Я нырял к пролому четыре раза. От выпитой водки у меня ходуном ходила голова, было смешно глядеть на своего узкоплечего, с торчащими острыми лопатками напарника. Повторно у Ефима едва хватило сил уцепиться за борт дощаника руками. Мы с председателем кулем затянули его в лодку. Мокрой бороденкой и кадыкастой шеей он смахивал на водяного. Хотя своим поступком удивил не одного меня.

— Спасибо, избач, — пожал ему руку председатель. — Парень ты, оказывается, рисковый. Зря только бабьим трудом живешь. Тебе бы трактор али комбайн освоить надо. И тебе, Владимирыч, — повернулся ко мне Иван Гордеевич, — спасибо, что за колхозное добро душой болеешь. Знать, не зачах еще в тебе крестьянский дух.

Мама растерла мне грудь и ноги барсучьим жиром, заставила выпить чашку горячего меда.

— Упреждала же я тебя, сынка, в бучу-то не лезть, — ласково выговаривала она мне. — Разве мало на селе парней? А тебе скоро в дорогу дальнюю...

Но в душе она наверняка гордилась тем, что не оплошал ее сын, показал себя перед земляками. Потом она постелила мне на теплой печи, и я мигом заснул.

Проснулся я оттого, что трудно стало дышать. Ломило грудь и до хрипоты перехватило горло. В ушах стрекотали назойливые кузнечики.

— Мам, а мам! — позвал я с печи. — Градусник у нас есть?

— Зачем он тебе, Шуренька? Неужто захворал? — беспокойно засуетилась мама. — Сейчас я мигом к Прасковье слетаю, у нее всегда беру.

Накинув платок, она громко брякнула в сенях щеколдой, со скрипом распахнула калитку.

Термометр показал тридцать девять и четыре десятых.

ГЛАВА 10

«После разговора с Вялковым я извлек на свет божий выпускной училищный альбом с фотографиями, долго вглядывался в юные, почти полузабытые лица своих товарищей по стотрубному линкору на Саперной сопке.

На внутренней обложке альбома вытиснено:

Конечно, поздно или рано
Растает дружная семья,
По всем морям и океанам
Нас разбросает жизнь, друзья!

Пророческие слова! И стыдно, что многих из друзей своей курсантской молодости я совершенно потерял из виду...»

Лодка вздрагивает всем корпусом, как загнанная лошадь. Дребезжит на разные голоса съемный ветроотбойник. Это оттого, что оба дизеля работают на полный ход, с выхлопом под воду, чтобы уменьшить грохот.

На мостике «тридцатки» всего двое: командир и вахтенный сигнальщик. Все лишнее убрано вниз, чтобы можно было в любой момент срочно погрузиться.

Над головой у Кострова бесшумно вращается антенна поискового локатора. Ежеминутно на мостике включается трансляция и монотонный голос радиометриста произносит одну и ту же фразу:

— Горизонт осмотрен, работающих станций не обнаружено.

Погода нынче — союзница «тридцатки»: ночь безлунная, черная, лишь кое-где в размывах облаков искрятся пригоршни звезд.

Небо для моряка — что наколотая на картоне азбука для слепого. Среди мерцающих искорок Костров безошибочно находит путеводные звезды. Лишь на миг показалась одна из звезд Гидры, и командир, приготовив секстан, ждет, когда появится между туч разлапый Геркулес.

В такие ночи Костров с благодарностью вспоминает училищного астронома капитана первого ранга Белочуба. С безжалостной настойчивостью прививал профессор курсантской пастве любовь к своему предмету. Всю летнюю практику он от зорьки до зорьки проводил на палубе учебного корабля. Стоило проклюнуться из хмары хотя бы единственной звездочке, как старый моряк филином залетал в спящие кубрики, выдергивая из теплых постелей невыспавшихся, злых «гардемаринов».

После, когда мы подносили к слипающимся глазам секстаны, Белочуб, приплясывая в подвижническом экстазе, верещал пронзительным дискантом:

— Качайте, качайте же звезды, мореплаватели!

У профессора был к тому же необычайный нюх па «раковые шейки» — астрономические задачи, решенные обратным ходом. Любители поспать штамповали их дюжинами, не выходя из штурманского класса. Прикидывали по карте, где был корабль минувшей ночью, и от координат его места с помощью таблиц добирались к высотам необходимых звезд.

Если у других преподавателей такие номера иногда проходили, то Белочуба невозможно было провести.

— Тэк-с, тэк-с, голубчик, — говорил он ловкачу, — значит, в четыре часа утра вы определились по Альтаиру. Похвальное усердие! И смотри-ка, неувязка у вас всего с гулькин нос. Да вы настоящий виртуоз! Одно плохо: в четыре часа Альтаир вы никак не могли увидеть. В тучках он был, да-с, в тучках!

Засела в памяти Кострова и самая первая лекция профессора Белочуба.

— Это секстан! — подняв над головой сверкающий никелем прибор, пронзительно, так, что многие вздрогнули, выкрикнул капитан первого ранга. — Плод человеческого гения, помноженный на опыт тысячелетий! Так же, как труд сделал обезьяну человеком, так секстан сделал человека мореплавателем! Возлюбите секстан, и он отыщет для вас среди бесчисленных дорог Мирового океана самую верную!

Щелчок боевой трансляции возвращает Кострова в сегодняшний день.

— До кромки района сто кабельтовов! — докладывает штурман.

— Есть! — принимает доклад Костров и приглашает на мостик капитан-лейтенанта Болотникова.

Видимо, многие в лодке почувствовали, что наверх поднимается комендор. Своим телом он так закупорил колодец рубочного люка, что дизели хлебнули отсечного воздуха. В негнущейся прорезиненной штормовке Болотников смахивает на Илью Муромца.

— У вас все готово, Зиновий Николаевич? — задает ему вопрос Костров.

Комендор недоуменно выпячивает губы: разве командир забыл, что старт условный? Ведь ракетный пуск имитируется воздушным пузырем и сигнальным патроном. А подводники говорят: ракета с торпедой — дуры, зато пузырь — молодец! За пузырные стрельбы каждого командира хоть к ордену представляй.

Костров словно догадывается о ходе его мыслей.

— Вот что, командир БЧ-2, — суховато говорит он. — Схему задействуйте, как при фактическом старте. Данные введете на бортовой имитатор ракеты. Выполняйте все проверки, вплоть до ключа на старт. Ясно?

— Так точно, — без особого энтузиазма отвечает Болотников. — Разрешите выполнять приказание?

— Ступайте. Хотя погодите, — спохватывается Костров. — За автомат посадите матроса Лапина. Дайте ему возможность самостоятельно провести всю предстартовую подготовку.

— Но-о, товарищ командир, — врастяжку произносит Болотников. — Матрос Лапин еще не допущен к самостоятельной работе...

— К вашему стыду! — обрывает его Костров. — За то время, что он на лодке, медведя можно танцам обучить. А у этого парня среднее техническое образование!

— Вы же знаете, что Лапин не торопится сдавать зачеты.

— Вы поняли приказание, товарищ капитан-лейтенант? Выполняйте!

Болотников молча скрывается в люке. Кострову слышно, как постанывают под ногами комендора стальные перекладины трапа.

Поисковая антенна вдруг начинает дергаться туда-сюда в небольшом секторе, словно что-то вынюхивает за кормой лодки.

— Самолетная станция! — частит по трансляции разом оживший оператор. — Пеленг триста десять! Сигнал слабый!

— Стоп оба дизеля! — спокойно и отчетливо командует вниз Костров.

Сигнальщик, уловив его жест, шустро ныряет в отдушину люка.

— Оба мотора «товсь»! Срочное погружение!

Надрываются в крике горластые ревуны. Над головой Кострова захлопывается крышка люка, и лодка проваливается в глубину.

Секундами исчисляется время этого рискованного маневра. Только что «тридцатка» резала форштевнем зеленые пласты волн, и вот уже сомкнулась над нею многометровая толща воды.

— Глубина тридцать метров! Кингстоны закрыты! Выдвижные устройства опущены! — докладывает вахтенный механик.

— Правый малый вперед! — распоряжается Костров. — Курс девяносто градусов!

На всякий случай необходимо провести маневр уклонения, чтобы запутать свои следы.

Штурман Кириллов в своей выгородке торопливо рассчитывает последнюю надводную обсервацию, прозванную «колышком». Все дальнейшее маневрирование привязывается к нему и в значительной мере зависит от его точности.

— Готово, товарищ командир! — радостно докладывает старший лейтенант. — Обсервация есть, до точки старта двести тридцать кабельтовов!

Костров одобрительно кивает головой. Может, зря он не скрывает своих симпатий к молодому штурману, но сноровкой Кириллова нельзя не любоваться.

— Ракетная атака! — раздельно и как-то особенно приподнято и торжественно объявляет по лодочной трансляции Костров. — Начать предстартовую подготовку!

Уступив свое место старпому, Костров направляется в приборный отсек. Его появление остается незамеченным, операторы заняты своим делом и не оборачиваются на хлопок двери. В своих кожаных шлемофонах они напоминают космонавтов, а приборный отсек стал похожим на кабину многоместного космического корабля.

Костров устраивается возле переборки, чтобы никому не мешать, и разыскивает глазами стриженый затылок Геньки Лапина.

Ага, вот он, земляк, у автомата. Шлемофон у него сбился на одну сторону, болтаются незастегнутые тесемки клапанов. Матрос беспокойно ерзает, шарит руками по приборной панели. «Не дрейфь, Генька! — мысленно успокаивает его Костров. — Соберись, сосредоточься, не мельтешись». И, словно в ответ на его подсказку, Лапин подхватывается с кресла. Срывает шлемофон и хрипит:

— Товарищ капитан-лейтенант... — Это он Болотникову. — Что-то стряслось с автоматом...

— Снимите высокое! — на бегу кричит комендор. — Ну чего ты стоишь, как остолоп?! Немедленно снимай питание!

Болотников протискивается между кресел, не обращая внимания на посторонившегося командира. Хватает торцовый ключ и с остервенением крутит гайки на задней крышке автомата. Ключ срывается с граней и больно ударяет комендора по суставу пальца. Ссадина покрывается розовой сукровицей.

— Раззява! — свистящим шепотом говорит он понуро стоящему рядом Геньке. — Руки у тебя не тем концом вставлены...

— Спокойнее, командир БЧ-2, — кладет руку на его плечо Костров. И только теперь операторы замечают его присутствие. — Спокойно во всем разберитесь и доложите, сколько времени потребуется на устранение поломки.

— Нисколько! — упрямо мотает головой Болотников. — Заменять надо теперь пульт, а Лапина под суд отдавать!

— Спокойнее, товарищ капитан-лейтенант, — снова одергивает его Костров.

— Я предупреждал вас, товарищ командир! Я предупреждал! — багровеет Болотников. — Вы со мной не посчитались! Теперь расхлебывайте сами!

Он швыряет ключ и убегает прочь из отсека. Возле автомата остаются только Костров с Генькой.

Костров смотрит прямо в глаза матросу. Тот не отводит взгляда, лишь чуть-чуть подергиваются его веки. До чего же он сейчас похож на сестру!

— Зачем вы брали меня на лодку, дядя Саня? — тоскливо спрашивает он.

Странно звучит это обращение из уст долговязого, широкоплечего детины. Странно для остальных, но не для Кострова.

— Разрешите, товарищ командир? — прерывает паузу старшина второй статьи Кедрин. — Позвольте мне взглянуть?

Он долго возится, прозванивая мегомметром электрические цепи, потом медленно вытирает вспотевший лоб.

— Через час схема будет в строю, товарищ командир! — повернувшись к Кострову, говорит он.

Из записок Кострова

Назавтра мне стало совсем худо. Температура не спадала, язык распух и шершавым комом ворочался во рту. Мама вызвала на дом врача, та ввела мне пенициллин, велела полоскать горло отваром шалфея.

— Если ему не полегчает, придется положить в больницу. У него катаральная ангина, да и с легкими, боюсь, не все в порядке. И не держите больного на печи, мамаша, ему и без того жарко!

Двое суток я пролежал в муторной полудреме, иногда забываясь совсем и проваливаясь в темную яму без снов, а когда разжимал веки, то видел подле себя маму. Она сидела на табурете возле моего изголовья, меняла влажную повязку на моем лбу и поправляла сползающее одеяло.

Как-то, очнувшись в очередной раз, я увидел на мамином месте Ольгу. Зашевелил бровями, соображая, сплю я или бодрствую, а она улыбнулась мне ласково и нежно, как ребенку.

— Ты... пришла... ко мне... — пошевелил я спекшимися губами.

— Ага, — шепнула она.

Я взял в обе руки ее ладонь и поднес к небритой щеке.

— Ты лежи, Шура, — сказала она. — Докторша не велела тебя тревожить.

— Мне уже стало лучше сегодня, — сказал я, пытаясь приподняться с подушек. — Мама где?

— Тетка Настасья корову доит. Завечеряло уже...

— Оля, Ольгуня, Олеся... Единственная моя на всю жизнь, — шептал я, покрывая поцелуями ее руку.

— Пусти скорее! Настасья Петровна идет!

— Слушай, люба моя! Вернусь в часть, стану хлопотать для тебя пропуск. Не смогу я там без тебя, Олеся!

С улицы кто-то сердито затарабанил в оконную раму. Ольга испуганно обернулась, привстала с табурета.

— Ольга! — позвал за окном хрипловатый голос. — Ты что, в сиделки подрядилась?

— Иду, мама! — торопливо откликнулась она. — Поправляйся, Шура, — накидывая шубейку, говорила она мне. — Утречком я опять тебя навещу...

Оля легонько притворила за собой дверь, и чуть слышный скрип дверных петель резанул меня по сердцу.

— С чего это Акулина взбеленилась? — спросила из сеней мама. — До чего вздорная баба. Волосья посивели, а уму-разуму не прибавилось, — позвенькивая подойником, вздыхала она. Нацедила мне кружку дымящегося молока. Я отрицательно помотал головой.

— Пей, сынок. Через немочь пей,— уговаривала она.— Молочко парное всяких лекарств целебнее...

Я не отвечал, занятый своими мыслями. Мама подсела на табурет.

— Не майся понапрасну, Шуренька, — осторожно вошла она в мои думы. — Любит тебя Ольга, крепко любит, не сомневайся... Я век прожила, меня обмануть трудно. Только гордая она шибко. Неровней и в тягость тебе не хочет быть. Братеника на ноги поставлю, сама учиться пойду, говорит. И своего она добьется, оттого что девка она настырная. А со свадьбой потерпится, сынок, — глянула она на меня просветлевшими глазами. — Не перестарки ведь вы обои. А настоящую-то любовь прозелень не возьмет. Отец-то твой двадцати семи лет на мне же-

нился, да и самой мне двадцать третий годок шел. А женихались чуть не сызмальства...

Из уголка маминого глаза вывернулась слезинка, она раздавила ее ресницами и вновь улыбнулась мне ободряющей улыбкой.

Под ласковый мамин говорок я задремал и увидел первый за эти дни сон. Стал будто Генька Лапин нашим с Олей сынишкой. Встретил меня из плавания за околицей, повесился мне на шею. А я подхватил сына на руки и гордо пронес через все село: глядите все, какая мне смена растет!

На этот раз проспал я беспробудно до самого полудня. И еще бы прихватил часок, да мама взбодрила меня, неловко потянув из-под меня простыню.

— Вдругорядь меняю, — сказала она радостно, — мокрущие скрозь! Это хорошо, сынок, коли в пот бросило. Значит, переломилась болезнь.

Я и сам чувствовал, что иду на поправку. Посвежела голова, унялась ломота в суставах. Осталась только зябкая вялость во всем теле.

— Гостей у тебя знатно перебывало, — сообщила мне мама.

— Ну да? И кто же?

— Ясное дело, Ольгуня чуть свет наведывалась. После председатель Иван Гордеевич заглянул. В район собрался, спрашивал, не надо ли чего привезти оттуда. Докторша была, сказала, что можно тебе вставать полегоньку. И еще от колхозного комсомола к тебе делегация приходила...

— Чего ж ты не растормошила меня, мама? Негоже вышло: гости в доме, а хозяин дрыхнет середь бела дня.

— Затем они и приходили, чтоб о здоровье твоем справиться. А коли спишь крепко, значит, все в порядке.

Мама обложила меня подушками, чтобы удобнее было мне сидеть в кровати. Все было по-прежнему в нашей чистенькой горнице, но будто впервой глядел я на смоляные узоры на оструганных стенах, на поясной портрет отца в рамке, перевитой моей курсантской ленточкой.

Отец словно подмигивал мне прищуренным левым глазом, на котором когда-то в детстве он рассек веко. «Молодец, что не поддался хвори, сынка, — казалось, подбадривал меня он. — Нас, Костровых, никогда не осиливала

хвороба. Валили нас навзничь только колчаковские да фашистские пули...»

Может, раскис я после болезни, только закипели в моих глазах непрошеные слезы. Захотелось снова стать мальцом и прижаться лобастой башкой к щетинистому отцовскому подбородку.

ГЛАВА 11

«В этот раз мне чертовски хотелось выиграть поединок у Вялкова. Нет, не из мелочного честолюбия. Просто мне хотелось доказать ему, что ни в какой академии ума не добавляют. И я решил противопоставить расчетливой академической тактике свою, доморощенную, основанную на дерзком риске. Прорваться там, где меньше всего ждут, нанести удар и уйти незамеченным — таков был мой план. А если обнаружат — закатать такие заячьи петли по курсу и глубине, чтобы там, наверху, у операторов глаза полезли на лоб от удивления!..»

Заход в бухту требует от командира хорошего навыка. С обеих сторон входного фарватера подстерегают лодку опасности. Направо турецким ятаганом выгнулась песчаная коса, налево — каменная банка. Чуть зазевался — либо на мели, либо днищем на камень, как на доковый стапель. И то, и другое здесь уже случалось. Повреждений немного, а стыдобищи — на всю жизнь.

Черная, дегтярная вода лениво расплескивается под форштевнем «тридцатки». Впереди уже темнеют редкие зубья причалов. Костров направляет лодку под углом к одному из них. Старается вовремя застопорить машины, чтобы матросам швартовых команд не пришлось натужить пупы, подтягивая на капроновых канатах тысячетонную махину.

— Быстрее трап! — торопит Костров суетящихся внизу людей, а взгляд его прикован к желтым пятнам автомобильных фар, которые щурятся на дороге от штаба.

Адмиральская «Волга» круто разворачивается возле причала.

— Почему опоздали со временем нанесения удара? — без предисловия спрашивает Мирский.

— Устраняли поломку в схеме стрельбы, товарищ адмирал, — запинаясь, докладывает Костров.

— Что за поломка?

— Сгорел трансформаторный блок.

Адмирал нахмурился.

— Причина?

— Ошибка оператора, товарищ адмирал. Поторопился включить высокое напряжение...

— Кто виновник аварии?

— Я, товарищ адмирал.

— Вы — само собой. А кто спалил блок?

— Виноват лично я, — твердо повторяет Костров. — Моим приказанием за пульт был посажен ученик.

— Вы что, первый день на флоте, товарищ капитан третьего ранга? — не сулящим ничего доброго голосом спрашивает Мирский.

— Не первый, товарищ адмирал...

— Хорошо, командир, — после многозначительной паузы говорит адмирал. — Прибудете ко мне в девять с подробным докладом.

— Есть, товарищ адмирал!

Машину провожает дежурный по соединению Камеев. Когда шум мотора затихает вдали, он подходит к Кострову.

— Что у тебя стряслось, Владимирыч? — сочувственно спрашивает он.

Костров рассказывает ему о случившемся в море.

— Погоди! — нетерпеливо перебивает его Камеев. — Тебе полагалось прорывать охранение, а не стрелять!

— Я задействовал весь комплекс по-боевому.

— Перестарался, значит? Вот и расшиб лоб!

— Не привык я людей расхолаживать.

— Самым лучшим захотел быть! Но для этого одного гонора мало, нужно еще и пуд соли съесть...

— А как вы считаете, Вячеслав Георгиевич, что лучше: пятерка в простых условиях или тройка в сложных? — вопросом останавливает его Костров.

— Самое умное — это не лезть на рожон, — отвечает ему Камеев. — Этого вы, молодые, никак понять не можете. Вам кажется, что вокруг вас весь земной шар вертится, вот вы и бросаетесь, как бодливые бычки, на все, что вам по дороге попадется. До тех пор пока вам рога не обломают!

— А что же, по-вашему, жить надо по устоявшимся канонам? А если каноны эти уже шаблоном стали, тормозом на пути развития военной науки?

— Ну давай, давай, ниспровергай авторитеты! — насмешливо улыбается Камеев. — А мы будем жить потихонечку, как Фома Корн.

— Какой Фома? — переспрашивает Костров.

— Да был такой англичанин, который прожил двести лет и пережил двенадцать королей. А я уже с четвертым командиром служу...

Светает. Над свинцово-серой водой тянутся клочья сизого тумана. В его разводьях темнеет неподвижная туша буксира. А из горла бухты доносится громкое сопение и частые всплески воды. Дельфины загнали сюда косяк ставриды и кормятся, зажав ошалевшую рыбу в узком колене между скал.

«Вот и меня сожрут теперь с потрохами», — невесело усмехается Костров. Скользя на галечных осыпях, он пробирается к воде. Садится на шероховатый валун, которому намыливает бока прибой. На этом камне Костров встречает восход солнца.

В назначенный час он отворяет двойные, обитые коричневым дерматином двери адмиральского кабинета.

— Входите, — не поворачивая головы, откликается Мирский.

— Капитан третьего ранга Костров прибыл по вашему...

— Подождите минутку.

Командир соединения не спешит. Читает какие-то бумаги, ставя на каждой короткую резолюцию. Подпись у него отработанная, с властным хвостатым росчерком.

Костров стоит, держа руки по швам, смотрит на землистое, иссеченное морщинами лицо адмирала, на синюю пульсирующую жилку возле его виска.

— Я вас слушаю, командир, — наконец поднимает голову от папки с бумагами Мирский.

— Вы мне приказали доложить, почему за ответственным пультом оказался необученный матрос... — начинает говорить Костров, но адмирал обрывает его на половине фразы.

— Погодите. Давайте все по порядку. Сначала доложите тактический замысел и ваши действия. Надеюсь, вы захватили кальку маневрирования и вахтенный журнал?

— Так точно, товарищ адмирал.

— Дайте мне. Так... Любопытно! — восклицает Мирский, слушая Кострова и придерживая короткими, корявыми пальцами кальку. — Вот почему вы так неожиданно всплыли...

— Собственно говоря, товарищ адмирал, этот вариант предложил мой старший помощник, капитан третьего ранга Левченко.

— Ну что ж, командир, — подытоживает доклад комдив. — Задача вами выполнена грамотно и, если бы не этот досадный промах со схемой, вполне заслуживала отличной оценки. Так почему же вы посадили за пульт ученика? — прищуривается он.

Костров, перескакивая с одного на другое, сбивчиво рассказывает о Лапине.

— Понимаете, товарищ адмирал, мне думалось, что ответственность заставит его подтянуться.

— Все это верно, командир, — говорит Мирский. — Только очень уж неудачный момент выбрали вы для воспитательного эксперимента. И вообще, мне известно о других ваших, мягко говоря, странностях. Говорят, вы очень много самостоятельности даете вахтенным офицерам. Как бы и с кем-нибудь из них не случилось подобного...

— Но я в них уверен, товарищ адмирал.

— А уверены ли они в себе?

— Они уже старшие лейтенанты и капитан-лейтенанты! В их званиях Головнин, Крузенштерн, Лисянский новые материки открывали...

— Эк вы куда махнули! В прошедший век! В ту пору техника была не та, что сейчас.

— Но ведь теперь и люди другие, товарищ адмирал!

Из записок Кострова

В тот день я проснулся рано, с предчувствием какого-то изменения. Глянув в окно, понял: зима! Снежок прихорошил расхлябанную за осень деревенскую улицу. Она была как невеста в подвенечном платье, и лишь посередине чернела свежая колея.

— Знатный морозец, Шуренька. Ядреный! — сказала мама. Следом за ней в избу вломились синие клубы холода. — На мокрую землю пал снег, быть, знать, в следующем году урожаю.

— Где наша «тулка», мам? — спросил я и, охваченный азартом, закружился по комнате. — Ты не помнишь, сохранились ли запыжеванные патроны?

— Чего ты загоношился, шальной? — ласково урезонивала меня мама, занимаясь привычным бабьим делом: разливая по крипкам удой. — Тебе докторша велела дома сидеть. Да и зайца ноне за семь верст не сыщешь, охотников страсть сколько развелось. Даже девки и те патроны жгут.

— Зайцы мне не нужны, мама, — приласкал я ее, обняв за шею. — Тайгой захотелось по первопутку пройтись... Слушай, мам, — соображал я. — Чем сейчас на молочной ферме занимаются?

— Колхознику делов завсегда хватает, — усмехнулась мама, — и в сезон, и после... Силосные ямы утепляют, скотину переводят в зимние стойла...

— Как бы сейчас Ольгу из дому высвистать? — вслух подумал я.

— У самой небось ноги есть, придует. — Мама как-то странно покосилась на меня и загремела чугунами в печи. Неужто она ревновала меня? Эх, матери, матери, больно вам уступать сыновей даже желанным невесткам!

Ольга заглянула к нам в восьмом часу утра. Была она в цигейковой шубе, на голове дымным облачком пуховый платок.

— Неловко отпрашиваться в будни, Шура, — сказала она. — Добро б еще с вечера, а то я на дальние коровники занаряжена.

— Представляю, какая сейчас красотища в кедровниках! Болотца ледком сковало, снежок на хвое едва держится. Торкнешь сосенку, и на тебя лавина снежная... Пять лет я нашей зимы пе видал, соскучился по ней. — Я взглянул Оле в глаза и шепнул на ухо: — Мне ведь скоро уезжать...

Что-то дрогнуло в ее лице, она вскинула руки, будто платок поправить, и скороговоркой ответила:

— Хорошо, чуток обожди, Шура. Я только тетке Аграфене скажусь. Я мигом обернусь! — Она хлопнула калиткой.

Я отыскал па дне сундука патронташ. Из его гнезд торчали позеленевшие латунные гильзы. Несколько штук оказались заряженными. Я выбрал две самые закисшие,

вставил в ружейные стволы. Вышел на крыльцо и, вскинув «тулку», салютнул дуплетом в рогожное зимнее небо. Собаки со всех концов села откликнулись на выстрелы радостным лаем.

Из двери пригона выглянула встревоженная мама.

— Ты чего балуешься, сын? — крикнула она. — Всю деревню всполошил! Вот оштрафует участковый, будешь знать, как во дворе палить...

— Пускай штрафует, мама! Не обеднеем. Это я патроны проверяю — не отсырели ли капсюли.

— Ступай за околицу и пали себе за милую душу, — для порядка поворчала мама, бросая на меня вовсе не сердитые взгляды.

Оля вернулась через полчаса. Забегала домой — переменить валенки на подшитые кожей лесоброды.

Мы пошли к бору прямиком через огороды. Этот путь выбрал я, угадав, что не хочется Оле идти проулком мимо своей избы.

Мягко проседала под ногами взрыхленная лопатами и не успевшая промерзнуть земля, кое-где на снегу пестрели плетенки заячьих следов. Знать, не права мама: до сих пор наведываются русаки в село полакомиться капустными кочерыжками.

На заокольной стороне Быстрянки мы с Олей постояли немного, полюбовались селом, которое отсюда было видно все, словно на печной заслонке. Зима породнила все избы. Засыпала снегом и добротные железные крыши, и прохудившиеся от времени тесовые. А изо всех труб вырастали прямые, высокие дымы, будто перед дальним плаванием поднимала пары бревенчатая эскадра.

Сравнение это показалось мне удачным, и я сказал о нем Оле.

— Ты просто бредишь своим морем, — вздохнула она. — И чем только оно тебя завлекло?

— Тем же, чем и ты! — воскликнул я. — Характером своим, гордым, непокорным...

— Я тебя всерьез спрашиваю, а ты мне балагурки...

— Я всерьез и отвечаю, Оленька. Знаешь, один из писателей-маринистов, Стивенсон, кажется, или наш Станюкович, не помню, сравнивал морскую романтику с неизлечимой болезнью. Только заболевают ею самые сильные, самые смелые люди. А разве я не сильный, разве я не

смелый?! — Я подхватил ее па руки и кружил до тех пор, пока у самого не замельтешило в глазах.

— Ты сибирский медведь,— негромко рассмеялась она.

— Ага. Только не засоня, а шатун. Не удержать меня возле берлоги. Хочется весь свет обойти, людей посмотреть. Представь на минутку, Оля, огромный пустынный океан, ни дымка в нем, ни чайки... И вот через много-много дней на горизонте появляется земля. Давным-давно открытая, может, еще самим Магелланом. Но для тебя она загадочная, незнаемая! И пока ты не ступил на нее ногой — ты тоже Магеллан. Разве это не здорово, Олеся? Честное слово, если бы я не попал в моряки, то выучился бы хоть на паровозного машиниста. Ездил бы в Москву за песнями!

— Видишь, какие мы с тобой несхожие,— снова вздохнула она, — ты бродяга, а я домоседка. Мечтаю о своей маленькой хатке, сад возле нее хочу вырастить. И чтоб ты всегда был подле меня. Знал бы ты, как я ненавижу это твое море! По ночам заснуть не могу оттого, что оно в ушах у меня журчит...

— Под водой оно тихое, Олеся, молчаливое и холодное.

— Хоть тихое, хоть громкое, все одно оно для меня злой разлучник.

— Олеся, родная моя! А помнишь, как пели мы в тайге, у костра, песню о бригантине? Ты же любила ее: «Пьем за яростных, за непокорных, за презревших грошевой уют!..»

— Когда это было, — грустно усмехнулась она.— Была я в ту пору просто желторотой девчонкой...

— А теперь, Олеся? Неужто ты стала совсем другой?

— Теперь, говоришь? Теперь я узнала, почем каждый день жизни. Глянь, руки у меня красные, как гусиные лапы. Оттого что я ими сепаратор верчу. Куда уж мне с такими руками путешествовать!

— А я знаю, Олеся, стоит тебе только увидеть море, ты сама в него влюбишься и станешь настоящей морячкой!

— Ах, перестань, Шура! Не хочу я больше слышать о твоем море! — крикнула она и рванулась вперед. Серый платок замелькал в подрослом сосняке.

Я кинулся за нею вдогонку, стараясь ступать в ее следы. Есть в наших краях такое поверье: если долго

пройдешь след в след за суженой, будешь с нею век вековать.

Настиг я ее не скоро. Сграбастал разгоряченную, запорошенную снегом, стал целовать ее щеки, губы. Она обмякла на моих руках.

— Оля, Оленька, Олеся моя! Я тебе все уши проторочил своей любовью, а ты ни разу не сказала, что любишь меня...

— Разве ты без того не понимаешь, Шура?

— Не хочу понимать! Хочу слышать, каждый день, каждый час!

Она прижалась ко мне, ласковая и вздрагивающая, просунула в рукава моего полушубка свои теплые руки.

— Родной мой, единственный, — едва слышно прошептала она.

Снегу на тропинках почти не было. Он осел на вершинах матерых, раскидистых деревьев. Кое-где на мшистой земле огневицей расползались кружева спелой морошки. Притомленная морозцем, она кровинками оттаивала во рту. Грозди оранжевых ягод сгибали ветки рябин. Гибкая нагая лиственница стыдливо прислонялась к корявому боку кедра.

Из дупла высунула пегую, любопытную мордашку белка. Я потянул из-за спины ружье.

— Оставь, Шура, — придержала ствол Оля. — Забыл, что ли: не охотятся здесь.

— Да я просто пугануть ее хотел, чтобы не подглядывала за нами.

— Сам ты тоже переменился,— усмехнулась Оля, опуская руку, — мудреный стал, непонятный...

Она уводила меня все дальше и дальше, и я послушно следовал за ней. Миновали кедровники, углубились в дикую тайгу. Я смотрел по сторонам, пытаясь признать знакомые места. Куда там! Заросли́ кедрачом когдатошние грибные поляны, скрошились кочки на посохших топях, обмелели, а может, пробили другие русла лесные ручьи. Время меняло лицо земли даже без помощи людей.

Мы прошли тропой через Кистеневскую падь. В детстве нам не позволяли ходить в тайгу дальше ее. Стращали лешим, злыми разбойниками. Сколько разочарований принес нам впоследствии родительский обман!

Заброшенное зимовье одиноко чернело на рыжем, глинистом бугре. Крыша избушки сбекренилась от старости,

стены подперты толстыми жердями. Но ветхую постройку до сих пор берегли, в шишкобой ночуют здесь промысловики.

— Куда мы? — хотел спросить я, но Оля прижала мои губы ладонью.

Она сама отворила плотно пригнанную дверь. Внутри избы был нежилой дух, углы покрылись зеленоватой щетиной плесени. Давно, видать, не заглядывали сюда люди. Но стекла в окошке целы, подновлена каменка, а перед ее топкой оставлена вязанка дров. По таежному обычаю, постояльцы, уходя, заготовили топливо для следующих.

Я перешагнул порог избы и остановился в недоумении, а Оля обвила мою шею руками.

— Желанный мой, — прошептала она. — Как я буду тосковать одна...

Я поднял ее, полегчавшую, словно пушинка, и отнес на прикрытую запашистым сеном лежанку.

— Погоди, Шурок, — ласково отстранила она меня, — давай сперва в горнице приберем.

Еловой лапой она подмела пол, а я, нашарив в печурке коробок спичек, затопил каменку. Сухие поленья занялись разом, в избе мигом потеплело.

— Вот теперь все, как на свадьбе... — целуя меня, сказала Оля.

ГЛАВА 12

«В армии подражают тем, кого любят. Это извечная истина. Я не раз ловил себя на том, что подражаю своему первому командиру, Котсу. В моих командах появлялись его интонации, даже некоторые его словечки я невольно перенял. Ну и что же в этом плохого?

Ведь когда я терялся, прильнув к перископу,
И когда меня качка за душу брала,
Он меня не жалел, по плечу мне не хлопал,
Но суровость его мне поддержкой была...

Интересно, будет когда-нибудь кто-то подражать мне?..»

Не спится Кострову. Чуть забрезжило за окном, и он уже на ногах. Выкатывает из-под койки тяжелые гантели и отправляется на улицу. Двадцатиминутная зарядка, затем холодный душ, и получен запас бодрости на целые сутки.

Когда с полотенцем через плечо он возвращается в свою комнату, возле двери обнаруживает Геньку Лапина.

— Тебе чего? — растерянно спрашивает Костров.

— Я к вам, — отвечает матрос.

— Заходи...

Генька несмело переступает порог, мнет в ручищах бескозырку.

— Ну говори, зачем пришел. Я слушаю.

Но матрос продолжает молча уродовать пружинный каркас бескозырки.

— Чего ты маешься? Говори.

— Вот чего, товарищ командир,— осмеливается матрос, — аварию-то я нарочно устроил. Со зла хватил реостатом на всю катушку...

— Врешь ты все, Генька, — недоверчиво усмехается Костров.

— А кто вас просил жалеть меня, как слепого кутенка? Может, не нужна мне вовсе ваша жалость!

На глазах его появляются слезы.

— Ну и дуралей ты, земляк, — покачивает головой Костров. — И шутки твои глупые. За такие шутки под трибунал отдают.

Пряча лицо, Генька мелко подрагивает плечами.

— Разрешите идти, товарищ командир? — с усилием выдавливает он.

— Погоди. Бери стул, садись, — жестом останавливает его Костров. — На-ка, выпей воды, — протягивает он стакан. — Ты ведь мне набрехал про аварию, Генька? — чуть погодя спрашивает он.

— Казнюсь я, дядя Саня,— едва слышно шепчет Генька. — Думаете, не знаю, сколько вы из-за меня горя хлебнули? А теперь, говорят, вас из-за меня с командиров снимут...

— Кто это говорит?— светлеет лицом Костров.— А ты, значит, выручать меня решил? Только напрасно ты за меня переживаешь, Генька. С моря меня никто снять не может. Хоть блокшив, но на мою долю достанется! А ты бы пошел ко мне на блокшив?

— Спасибо вам на добром слове, товарищ командир, — тихо отвечает матрос.

— Спасибом ты не отделаешься. Иди лучше и подумай, как дальше служить будешь. Хорошенько подумай...

В начале восьмого приходит с докладом Левченко.

— Новости есть, Юрий Сергеевич? — завизировав бумаги, спрашивает Костров.

— Есть, и неприятные. Звонили комплектовщики, начальник штаба распорядился откомандировать матроса Лапина обратно на береговую базу.

Кострова ошеломляет это известие. Он медведем выбирается из-за стола, смахнув локтем папку с документами. Обида и злость подкатывают к сердцу. Как могли решить судьбу человека, даже не посоветовавшись с командиром? Костров понимает, что кто-то действовал за его спиной.

— Так готовить на Лапина документы? — справляется Левченко, подняв с пола разлетевшиеся листы.

— Погодите, старпом, — говорит Костров, хватая телефонную трубку. — Вы не заняты, Николай Артемьевич? Зайдите ко мне на минутку.

Тут же, словно только и ждал звонка, замполит появляется на пороге.

— Доброе утро, — с обычной улыбкой здоровается он. — Очередные неприятности? Догадываюсь какие, товарищ командир.

— Нельзя списывать Лапина! — обращаясь к обоим своим помощникам, говорит Костров. — Матрос только что был у меня. Сам пришел. Понимаете, сам пришел! Его теперь поддержать надо, а не бить обухом по голове!

— Я пытался убедить комплектовщиков в том, что мы через месяц-другой поставим Лапина на штат, — подает голос старпом. — Они говорят: ничего не можем поделать, приказ!

— Я сейчас же иду к начальнику политотдела, — поднимается Столяров. — Парня надо отстоять. И мы его непременно отстоим, товарищ командир!

Из записок Кострова

Я уезжал из дому перед самым закрытием навигации. На песчаных плесах Оби уже синели забереги. Навстречу пароходу плыла сала — крошево из свежего льда.

Тащил меня опять старенький «Абакан». Надсадно пыхтя и расплескивая колесами воду, он боролся с быстрым течением реки. Знакомого мне помощника почему-то не было. Я не стал узнавать, куда он подевался, мне думалось, что парню повезло, стал капитаном, принял под свое начало новый речной лайнер. Той осенью я всем подряд желал только хорошего.

До пристани в Борках я снова добрался на председателевом газике, но за рулем его сидел колхозный агроном Тимофей Спиридонович Костров. Ехал он в район по делам.

Мой однофамилец — второе лицо в колхозе. Правда, боевых наград у него поменьше, чем у председателя, зато с войны агроном пришел в офицерских погонах. И не зачванился — вышел в поле рядовым колхозником. Потом бригадирил до тех пор, пока не осилил заочно сельскохозяйственный институт. Стал первым в округе дипломированным специалистом. Пытались его забрать в район на завидную должность, но заупрямился Спиридоныч, наотрез отказался покидать Костры.

Агроном ехал не спеша, аккуратно притормаживая на колдобинах, часто оборачивался к нам с Олей.

— Неужто не жаль бросать родные места, племяш? — спрашивал он.

— Чего врать, Тимофей Спиридоныч,— признался я,— с моего сердца сейчас можно лыко драть...

— То-то и оно! Я, как тебе известно, не последним был в армии. Ротой командовал. Теперь наверняка бы в комбатах ходил, а может, и полк уже дали бы. Только дернул меня лукавый в сорок седьмом заявиться отпускником в Костры. Две недели всего погостевал, а вернулся в гарнизон и места себе найти не мог. Ностальгия заела. Смысл у этого мудреного словечка простой: тоска по родине. Полгода крепился, а после не выдержал и уволился в запас.

Может, и не сговаривались агроном с председателем, только дудели они в одну дудку.

— Вас, Тимофей Спиридоныч, война от крестьянства оторвала, — защищался я, — а я по призванию пошел в училище. Буду пахарем моря.

— А я вовсе тебя не корю, — через плечо глянул на меня агроном, — и советов не даю. Просто о себе рассказываю.

Оля молча слушала наши разговоры. Сидела она печальная, будто отрешенная от всего, и даже руку машинально выпрастывала из моих ладоней. Должно быть, в душе ее шла борьба, но я не замечал ни красноты ее век, ни обострившихся скул. Видно, и вправду счастье слепо. Все это я припомнил и осознал гораздо позднее.

Мы едва успели к отплытию. «Абакан» уже сердито сипел прохудившейся сиреной. Прощаться пришлось второпях. Зато я долго смотрел с кормы парохода на одинокую девичью фигурку, пока она не обратилась в темную точку на выбеленных инеем досках причала.

В Новосибирске я купил билет на самолет и через двое суток был на месте назначения.

Соединение подводных лодок стояло в продолговатой, как ложка без черенка, бухте с лесистыми берегами. Приземистые раскоряки-сосны подступали к самому морю. Говорят, что за них крепили швартовы первые пришедшие сюда корабли. Заслонившие горизонт горбатые сопки кудрявились запорошенной снегом порослью.

И сосны, и скованная синим льдом маленькая речушка так живо напомнили мне Костры, что я сошел на берег с захолонувшим сердцем. Но осмотрелся и понял свою ошибку. Слишком в дальнем родстве были таежные красавицы Приобья со здешними деревьями. Злые океанские ветры скрутили узлами их ветви, покорежили стволы. На земле возле их корневищ ни мха, ни можжевельника, только охает под снегом хрусткая галька.

Хозяевами здешней яловой, каменистой земли были испокон веку одни рыбаки. Поселок ближнего рыбокомбината маячил на горушке верстах в пяти от военного городка. Иногда под гору спускались крикливые рыба́чки, разыскивая своих тощих, висломордых свиней.

Меня поселили на плавказарме — трофейном японском транспорте, который, как и всё в этих краях, назывался озорно и непонятно: «Черная Ляля». Под бортом ПКЗ, среди других подводных лодок, стоял и мой минзаг.

— Добро пожаловать, самый младший! — такими словами встретил меня командир, капитан второго ранга Котс.

«Как он помещается в отсеке?» — глянув на него, мысленно удивился я. Со своими ста восьмьюдесятью сантиметрами я был чуть повыше командирского плеча. Котс обласкал меня взглядом светло-голубых глаз, пригласил сесть. Он напомнил мне доброго великана из арабских сказок.

По наивности я пропустил мимо ушей обращение «самый младший», но оказалось, что за ним кроется многое. И стояночные наряды — «через день на ремень», и должность заведующего офицерской кают-компанией. Все это

было внештатным приложением к моим обязанностям и называлось у Котса «проверкой на герметичность».

Меня предупредили, чтобы я, не приведи бог, не начал роптать вслух. Это влекло за собой еще одну новую, дополнительную нагрузку.

Командир часто заглядывал ко мне в мой минный отсек и, выслушав мой доклад, как бы невзначай осведомлялся:

— Ну как, осваиваетесь, самый младший? Суток вам хватает?

— Так точно, товарищ капитан второго ранга! — бодро отвечал я. — Даже на сон остается, — хотя у самого от недосыпания трещала голова.

— Вы уже за то молодец, — приободрял меня Котс,— что рук себе раньше времени не связали. А то нынешние марсофлоты, едва вылупятся из гнезда, и сразу в загс. После заявляются в часть с семьями и хозяйством... Разве пойдет им служба на ум! Еще и не плавали, а пора в док становиться — корма ракушками обросла!

Командир возмущенно фыркал, а я отворачивался в сторону, чтобы не показать предательски рдеющее лицо.

ГЛАВА 13

«Что же такое морские традиции? По-моему, это золотые крупицы многолетнего опыта, остающиеся в наследство новым поколениям. Традиционно, к примеру, моряку быть храбрым.

Прославлена морская форма
В жестоких битвах трех веков,
Враги недаром «смертью черной»
Прозвали русских моряков.

Традиции непрерывно складываются на каждом корабле, в каждом соединении. А мы — первый экипаж «тридцатки», и от нас во многом зависит, каким будет ее послужной список...»

— Олесь Владимирыч, — смущенно улыбаясь, спрашивает комендантша. — Чего это вы наобещали моему Олежке? Он вас уже третье воскресенье в гости ждет.

— Я? Наобещал? — растерянно переспрашивает Костров.

«А ведь на самом деле, я говорил что-то подобное, и мальчик все принял всерьез»,— припоминает он.

— И вообще вы балуете моего сына. Игрушек ему накупили, конфет. У нас в семье такого не заведено! — шутливо грозит она пальцем.

— Извините, Алена Григорьевна, не знал, — разводит руками Костров.

— Олежка очень любил отца, — вздыхает его собеседница.— Теперь вот и тянется к морской форме.

— Он в детском саду?

— Как раз вот и нет. Занедужил, дома сидит. Он у меня второй год ангинами мучается. Врачи говорят, надо гланды удалить, а мне жалко его. Пусть хоть немного подрастет.

— Знаете, Алена Григорьевна, а я действительно ему обещал. Вы не будете возражать, если я его сегодня навещу?

— Отчего? Будьте ласка, коли желаете...

Олег встречает гостя восторженными воплями.

— Дядя Саша пришел! Дядя Саша пришел! — подпрыгивая на кровати, повторяет он. И тут же бросается к зеркалу — примерять подаренную Костровым офицерскую пилотку.

— Ты чего это заказаковал? Кыш в постель! — прикрикивает на него мать.

Сама она суетливо мечется по комнатке, поправляя скатерти и занавески.

— Да вы сидайте, Олесь Владимирович! — наконец спохватывается смущенная женщина.

Костров тоже чувствует себя неловко, особенно оттого, что в прихожей коммунальной квартиры встретился с соседями комендантши. На туалетном столике он видит фотографию в мельхиоровой рамке. Скуластое улыбающееся лицо. Из-под флотской фуражки выбивается непокорный чуб. Верно, это и есть мичман Стороженко, без которого осиротело это жилье. И Кострову становится вдвойне неловко, словно он посягнул на законные права этого человека.

— Чем же мне вас угостить? — спрашивает хозяйка.

— Не беспокойтесь, Алена Григорьевна, — говорит ей Костров. — Я скоро пойду.

— Нет уж, так я вас не отпущу!

Она быстро собирает на стол. Среди солений и варений на нем красуется пузатый графинчик с вином.

— Как говорится, чем богаты, тем и рады. Вино тоже своего производства, — говорит хозяйка, наливая бокалы. — По рецепту Ивана Тарасовича, — кивает она головой на фотографию. — Он у нас сам не пил, а друзей угостить любил...

Наступает неловкая пауза. Чтобы разрядить ее, хозяйка наливает по второй и грустно улыбается...

— Вы не представляете, как подрубило меня это несчастье... Была первой модницей в гарнизоне, а теперь вот... — расправляет она на коленях застиранное платье.— А для кого мне наряжаться?

— Рано вы в монашки записываетесь, Алена Григорьевна, — еще больше смущается Костров. — Вы же молодая и красивая женщина.

— Была молодой, была красивой... Да короткие для моей красоты сроки — двадцать пять рокив...

— А что же тогда мне говорить? Ведь мне уже тридцать два, — улыбается Костров.

— С виду вы моложе меня. Верно, вас судьба миловала.

— Миловала, да не очень...

— Что-то мы грустные речи ведем. Давайте еще выпьем, чтоб соседям не журилось!

— Дядя Саша! — подает голос занятый игрушками Олег. — Вы мастер спорта?

— Нет, я не спортсмен.

— А мой папа был мастер спорта и чемпион флота!

— Я знаю, Олежек.

— Мы с Иваном ни одного отпуска дома не сидели, — рассказывает хозяйка. — Рюкзак за плечи — и в горы. Весь Кавказ облазили, все Закарпатье. Он меня и в спорт затянул. Начала с физзарядки по утрам, а закончила первым спринтерским разрядом...

— Дядя Саша! — вновь слышен голос Олега. — Чего вы все с мамой разговариваете, поиграйте же со мной!

Из записок Кострова

Конец ноября принес в «семейную» базу настоящую зиму, оказавшуюся еще лютей сибирской. Звонкие костровские морозы я, бывало, переносил играючи, редко тре-

ух нахлобучивал до ушей. А к здешним промозглым ветрам долго не мог приноровиться, они гнули меня в три погибели и насквозь прошивали суконную шинель.

Первого декабря разыгралась сырая пурга. Честное слово, я, коренной таежник, не предполагал, что могут быть такие сугробы, когда двухэтажные казармы заметает под крыши!

Едва унялась пурга, как в базе начался «метрострой». От здания к зданию натянули канаты и вдоль них стали пробивать в снегу туннели. А еще через пару дней весь этот труд египетский пошел насмарку. Подул южный ветер, и прямо на глазах съежились и осели белые барханы.

Зимой подводные лодки возвращались с океана похожими на доисторических чудищ. От ватерлиний до мостиков их покрывали ледяные панцири, а сетепрорезатели на форштевнях превращались в диковинные бивни.

Едва такой динозавр ошвартовывался у стенки, как на него наваливалась «банно-прачечная» команда. Трое здоровяков-матросов обдавали лодочные бока крутым кипятком из пожарных брандспойтов. Под горячими струями лед мигом покрывался сизой пленкой, трещины молниями разбегались по его поверхности, и ноздреватые пласты с грохотом обваливались.

Многие лодки были почтенными старушками, отпраздновавшими серебряные юбилеи. Хлопот они доставляли немало, но команды любили своих латаных русалок. Такова уж особенность мужской натуры: в старом привычном костюме всегда кажется удобнее, чем в самом моднящем новом.

Хотя боевая подготовка в зимний период значительно свертывалась, лодкам частенько приходилось сталкиваться лицом к лицу с беснующейся стихией. В одну из ночей и наш экипаж подняли по боевой тревоге. Я замешкался в каюте и на лодку прибежал последним, схлопотав хлесткую реплику командира:

— Дай, боже, нам такой же крепкий сон, как детям и праведникам!

В моем минном отсеке было слышно, как рядом с нашим минзагом сопел, разводя пары, ледокольный буксир. «Будут выводить на чистую воду», — сообразил я, и это не было каламбуром. Бухту покрывал лед полуметровой толщины.

Приняв доклады о готовности к походу, Котс собрал офицеров в центральном посту.

— За Итурупом угодила в тайфун девяностая «щука», — без предисловий объявил командир. — Связь с ней потеряна, вероятно имеются повреждения. Мы идем на помощь. Командирам боевых частей еще раз проверить механизмы. Тайфун вам не фунт изюму. Понятно? Теперь по местам, и чтобы все было в ажуре!

Через час мы двинулись. Впереди с хряпом крушил лед буксир, оставляя за собой зеленое разводье. Крупные обломки льдин скрежетали по нашим бортам.

— Боцман! — сердито крикнул с мостика Котс. — Мух ловите? Отталкивайте льдины! Не хватало продырявить цистерну в трех шагах от дома, — проворчал командир, кладя на место мегафон.

Чистая вода оказалась невдалеке. Вскоре мы сначала услышали, а потом увидели, как впереди вздыбливается горбами и лопается подмытый лед. Это океанский накат поднимал его на своей могучей спине.

— Утром обошлись бы без ледокола, — вслух высказал свои мысли командир.

Волны приняли нас сразу за ледяной кромкой. Они забавлялись с лодкой, словно кошки с мышью: то подбрасывали и подхватывали ее на лету, то вдруг расступались, и лодка по самый мостик вре́залась в кипящий водоворот.

Океан походил на бескрайнюю холмистую равнину, выбеленную первым снегом. Только холмы на этой равнине не стояли на месте, а не спеша катились от горизонта. Ветер растрепывал их пологие макушки, учиняя пенную пургу.

Чем дальше отходили мы от берега, тем сильнее становилась качка. Волны уже не наскакивали ошалелыми дворнягами, теперь они чинно подкатывали к «Ленинцу», заступая дорогу и закрывая полнеба. Упрямый корабль, кряхтя, задирал нос и бесстрашно карабкался наверх, чтобы минуту спустя стремительно скатиться навстречу следующему валу.

От бесконечных взлетов и падений чугунела голова, сбивались в комок и теснили дыхание внутренности. Перегнувшись через буртик мостика, я отдал первую дань Нептуну. Когда поднял бледное, в холодном поту лицо, встретился с ободряющим взглядом Котса. «Держись, самый младший!» — говорили его глаза.

Вахта сменялась каждый час. Больше трудно было выдержать в этом бурлящем, вымораживающем кровь котле. Привязанный к переговорной трубе, я мигом оделся в ледяную кольчугу. Лишь чайник кипятку позволил распутать смерзшиеся веревки, чтобы привязать ими моего сменщика. А я быстро юркнул вниз, в блаженную теплоту отсека, разделся и забрался в постель под шерстяное одеяло. Но и лежать можно было, только пристегнувшись ремнями к дивану. И во сне я без конца проваливался в какие-то колодцы и ямы, поминутно просыпаясь с колотящимся сердцем. А через четыре часа меня снова вытянули наверх.

Двое суток океан не давал нам передышки. Но еще раньше я почувствовал, как просветлела моя голова, рассосался комок, застрявший в горле. Впервые после «разгрузочного» дня я с аппетитом уплел полную миску жаренных в сале макарон. Поднялось настроение, хотелось кричать, пересиливая шторм: «Будет буря — мы поспорим и помужествуем с ней!»

Восторг мой излился собственными стихами:

Старик океан проверяет нас крепко,
Удары волны — словно залпы орудий,
Но только подводная лодка — не щепка,
И ею командуют смелые люди!

Девяностую «щуку» мы нашли к исходу третьих суток. Сначала засекли ее работу на ультракоротких волнах. «Дрейфуем к югу, — сообщил Котсу ее командир. — Погнуты линии валов, потерян вертикальный руль». Далее шли координаты места аварийной лодки.

«Идем к вам. Корректируйте наш курс», — передал ответную радиограмму Котс.

— Пять суток отпуска тому, кто первым увидит «щуку»! — пообещал он вахтенным сигнальщикам.

Но первым лодку увидел я. Как синий айсберг, возникла она на крутой волне, вся окутанная серыми смерчами испарений.

— Справа тридцать, дистанция двадцать пять кабельтовов! — радостно заорал я, вытягивая вперед руки. Посрамленные сигнальщики обиженно кусали губы.

— Браво, младший! Зрение у тебя в ажуре, — одобрительно сказал Котс, разворачивая лодку на курс сближения со «щукой». Вскоре она вздыбилась совсем невдалеке от нас.

Вся в ледяных сталактитах и сталагмитах, лодка и в самом деле напоминала айсберг. Особенно бросалась в глаза носовая пушка, обратившаяся в белого мамонта. Зато изодранный в клочья ходовой флаг не был приспущен. Все люди были живы.

— Буксир сможете принять? — крикнул в электромегафон Котс.

На обезображенной палубе «щуки» появились люди. Вызвали наверх и нашу швартовую команду.

— Осторожнее с тросами, помощник, — инструктировал офицера командир. — Людей привяжите к леерам. Да глядите аккуратнее стреляйте из линемета, глаза друг другу не выжгите.

— Может, руками подадим бросательный, товарищ командир? — вставил словечко пожилой боцман.

Реактивный линемет мы получили совсем недавно взамен бросательного конца, живущего на флоте, вероятно, со времен Одиссея. Не только старые боцманы, но и некоторые командиры с опаской восприняли новшество.

— Руками вы не добросите, боцман, — сказал Котс.— Ветер отжимной, а близко подходить не станем.

— На «щуке»! — поднеся ко рту мегафон, крикнул он. — Сможете вытравить несколько смычек якорь-цепи? Надо бы закрепить их на буксирном тросе, чтобы амортизировали рывки!

Вскоре наш минзаг по-бурлацки натужно, спотыкаясь на волне, тянул буксир. Поврежденная лодка рыскала за его кормой из стороны в сторону, словно упрямая телка, грозя оборвать противно скрежещущий буксир. Он лопнул на подходе к базе, когда уже подоспело спасательное судно. Дальше «щуку» повело оно.

Обычным порядком лодку освободили от ледяных оков, и все ахнули, увидев, как искорежил ее надстройки тайфун. Носовую палубу срезало, как ножом, и скрутило в рулон, словно лист картона. Ударом страшенной силы стальную скатку вклинило под пушку, согнув коромыслом ее стомиллиметровый ствол. В обшивке легкого корпуса зияли рваные пробоины и вмятины.

Оба наших экипажа выстроили на причале. «Дед Мазай» — так шутливо прозвали горячего, но отходчивого комбрига — сказал проникновенную речь. Слушая его, и я чувствовал себя немножко героем.

«Мне кажется, я снова обманываю себя. Делаю вид, что хожу в гости к своему маленькому другу Олегу, а на самом деле меня влечет к его маме. Не оттого ли, что в ее характере я нахожу какое-то отдаленное сходство с Ольгиным? Ту же неуемную гордыню, стремление к независимости и полное пренебрежение к пересудам. А может быть, просто потому, что Елена красива. Когда я впервые увидел ее с прической и в элегантном костюме, то едва не ахнул от удивления...»

— Слушай, Владимирыч, — говорит Камеев, когда они вместе с Костровым возвращаются с инструктажа. — Единственное, о чем я тебя прошу, — пожалуйста, не выпендривайся. Не забывай, что тут Черное море, мили промеренные, гидрология темная...

Камеев должен подтвердить одну из труднейших задач курса — противолодочный поиск. В назначенном районе ему надо обнаружить, атаковать и уничтожить подводную лодку условного противника. Эта роль поручена «тридцатке».

— Хотите получить нас на блюдечке с голубой каемочкой? — улыбается Костров.

— Во всяком случае, я рассчитываю на дружескую помощь. Только не удружи так, как комдиву Вялкову. Тот удивляется, как это тебе удалось прорваться в район удара. Говорит: «Чую, смухлевал Костров, не иначе как вышел из заданного квадрата», — испытующе глядит на спутника Камеев.

— Пусть проверит мой навигационный журнал, кальку маневрирования.

— Все это верно, но Вялков знает, что журналы тоже люди пишут.

— Дело его, каждый волен думать о других все, что ему заблагорассудится,— уклоняется от разговора Костров.

«Тридцатка» первой снимается со швартовов. Костров шлет сопернику семафор с традиционным «ни пуха ни пера». «К черту»,— отвечает Камеев.

Погода не балует. Подсуропила все четыре удовольствия: ветер, волну, туман и дождь. Мыча сиреной, лодка вихляет боками, как форсистая девчонка, танцующая шейк. Верхняя вахта с нетерпением ждет команды о погружении.

5*

Зато под водой сухо и тепло. Костров сбрасывает очугуневшие доспехи, отогревает млеющие конечности.

На самом малом ходу «тридцатка» подкрадывается к противолодочному рубежу. Костров представляет, что творится сейчас на главном командном посту у Камеева: отыскать лодку на глубине не легче, чем иголку в стоге сена.

— Шум винтов справа двадцать! — докладывают Кострову акустики. — Пеленг меняется на нос!

— Противник на курсе сближения! — уточняет из своей выгородки штурман Кириллов.

Не прозевали камеевские акустики, сумели установить контакт. Теперь Камееву надо занять правильную позицию залпа, и дело будет сделано. «Но это мы еще посмотрим», — самолюбиво думает Костров.

— Лево на борт! Оба мотора средний вперед!

Несколько крутых эволюций не приносят успеха. Цепко держат контакт камеевские акустики. Дистанция между лодками медленно, но верно сокращается.

«А что, если рискнуть на знаменитую котсовскую заднюю петлю?» — осеняет Кострова неожиданная мысль. Этот маневр неоднократно помогал «Ленинцу» уходить из-под самого носа поисковых групп. Правда, минзаг хорошо управлялся на заднем ходу, а у «тридцатки» высокая надстройка, создающая реверсивный выбрасывающий момент. «Эх, была не была!» — решается Костров.

— Штурман, сейчас станет жарко, — говорит он. — Справитесь?

— Все будет в ажуре, товарищ командир! — встряхивает чубом старший лейтенант.

«Откуда у него любимое Котсово словечко?» — удивляется Костров. Но тут же сосредоточивается на задуманном маневре.

— Стоп оба мотора! — командует он. — Боцман, приготовьтесь к заднему ходу. Оба малый назад!

Натужно вибрируют листы палубного настила. Лодка заметно сваливается на нос.

— Медленно всплываем, товарищ командир! — подает голос мичман Тятько.

«Вот будет опять шуму, если покажем рубку», — бьется в мозгу Кострова тревожная мысль.

— Принимать балласт в среднюю! Оба полный назад!

— Теряем глубину! — беспокоится боцман.

— Оторвались, товарищ командир! — высунувшись из выгородки, радостно кричит штурман. — Противник уходит в сторону!

«Порядок»,— удовлетворенно улыбается Костров. Можно стопорить ход. Потом развернуться на обратный курс — и поминай как звали...

— Стоп оба мотора! — Костров внимательно смотрит на притихший расчет главного командного поста и в ответных взглядах подчиненных видит откровенное восхищение.

— Гарно сманеврировали, товарищ командир. Мабудь расписались на воде, — уважительно произносит мичман Тятько. А старпом Левченко прячет одобрительную улыбку.

Тут только Костров вспоминает недавнее напутствие Камеева. Представляет, как тот сейчас раздосадован, как рвет и мечет в центральном посту. Рассказывали, что в гневе он необуздан и что однажды швырнул сапогом в боцмана, когда тот не удержал заданную глубину.

«Ну ничего, — думает Костров. — Это будет ему хорошим уроком. Пусть припомнит наш недавний разговор насчет шаблонов. Мало обнаружить лодку, надо суметь удержать контакт и завершить атаку».

В памяти Кострова невольно всплывают строки стихов средневекового поэта Ариосто:

Почетно в честном поединке
И победить, и мертвым пасть!

К удивлению окружающих, он произносит эти строки вслух.

Из записок Кострова

Долго еще находился я под впечатлением тайфуна. Ночью мне снились огромные водяные горы, грязно-зеленые, с белесыми прожилками пены. Шипя, как десять паровозов, они катились на лодку, а я с холодеющим сердцем метался по мостику, ища спасения. Но мокрые щупальца находили меня в самом укромном местечке, скручивали и волокли в пучину. Только я не успевал испытать загадочной иллюзии собственной гибели: каждый раз чудесным образом приходило избавление. Кто-то бро-

сал мне пробковый нагрудник, а следом пеньковый конец, и на нем меня поднимали на палубу. Чаще всего моим спасителем оказывалась почему-то Оля...

Пробуждаясь, я четко, до малейших подробностей, помнил эти свои сны. Вероятно, их навевал страх, который я сумел побороть наяву, но он засел где-то в запоминающих клетках моего мозга. Я тогда еще не знал, что после мне не раз еще будет страшно, что в этом умении побеждать страх скрыта частица морской романтики.

Разумеется, я никому не рассказывал о своих ночных кошмарах, даже своему новому приятелю Вадиму Мошковцеву. Разве можно делиться с кем-то своими слабостями?

Вадим был старшим лейтенантом и занимал должность помощника командира плавающей базы «Неман», которая серой скалой возвышалась над причалом. Подводные лодки жались к ее бокам, как доверчивые телята к матке.

Тремя годами раньше меня Вадим закончил училище, но до сих пор одевался по последней ленинградской моде. Этим он выгодно отличался от некоторых здешних офицеров, которые считали чуть ли не шиком засаленные кителя и пузыри на коленях. Чем меньше, мол, заботится человек о своей внешности, тем богаче его внутреннее содержание! И к тому же Невского проспекта здесь нет, Большого театра тоже...

Вскоре после нашего знакомства Вадим придирчиво перешерстил мой гардероб.

— Укороти и заузь брюки, — приказал он. — Фуражку подпружинь, чтобы не смахивала на камилавку. Сведу тебя в поселок к одному мастеровому. Сделает все как надо и недорого возьмет. И следи за своей речью, старик. Мы не крючники, а морские офицеры.

Одной из служебных обязанностей Вадима было размещение по каютам плавбазы лодочного и штабного начальства. Его такту и умению улаживать конфликты мог бы позавидовать администратор столичной гостиницы.

— Сегодня флагштура с механиком мирил! — со смехом рассказывал Вадим. — Оба претендовали на верхний ярус. Тогда я флагштуру тихонько шепнул, что там рядом проходит канализационная труба. Он с радостью пошел вниз, да еще благодарил меня за внимание! А флагмех на такую липу ни за что бы не клюнул.

Я не понимал, почему мой командир недолюбливает старшего лейтенанта Мошковцева.

— Что-то этот фазанок зачастил к вам, Костров? — спросил меня однажды Котс.

— Он мой товарищ, — ответил я.

— Да? — неопределенно хмыкнул командир, смерив меня непонятным взглядом. Отвернулся и засвистал какой-то мотивчик.

В этот же день он добавил мне еще одну обязанность: заведовать корабельной киноустановкой.

Со списком нужных лент я отправился на флотскую кинобазу. Мою заявку встретили там дружным смехом, а заливистее других хохотал сам начальник — сухопарый, жилистый капитан с полным ртом золотых коронок.

— Ты, дорогой, думаешь, у меня здесь Голливуд? — откашлявшись, спросил он. — Да этих картин, что ты тут написал, мы и в глаза не видели!

— Они же давным-давно идут на экранах страны...

— В Москве? Может быть. А к нам приходи за ними годика через два, не раньше. Пока вот бери, что есть: «Пограничников», «Богатую невесту», «Праздник святого Иоргена» — звуковой вариант...

— Их снимали еще до моего рождения, — хмуро проворчал я.

— Ишь ты какой остряк! Тогда садись на мое место и звони прямо министру культуры! Может, тебе будут присылать прямо с киностудии!

Видя мою недовольную мину, он повернулся к своим собеседникам:

— Вот так всегда: вынь им и подай! А где взять, это их не интересует. Вот когда я еще базовым клубом заведовал, приходилось мне комплектовать корабельные библиотеки. Так что вы думаете? Каждый библиотекарь требовал «Декамерона»!

Я не имел желания узнавать, чем заведовал балагур-капитан до базового клуба, поэтому попросил:

— Отметьте в заявке то, что есть у вас, и я пойду получать.

После я узнал, что фамилия начальника кинобазы — Сиротинский, а прозвище — «блуждающий капитан». Это потому, что не задерживался он подолгу на одном месте. В гарнизоне о нем ходило множество притч, и, как мне

думается, с собственного его благословения. Мне их часто рассказывал Мошковцев:

— Сандро, еще одна история из жизни служителей муз! Встает как-то поутру капитан Сиротинский с головной болью. Вызывает рассыльного. «Слушай, голубчик, — ему говорит. — Слетал бы ты в аптеку, взял чего-нибудь от головы». — «Понял, товарищ капитан! А чего купить: пирамидону или пургену?» — «А что угодно, лишь бы полегчало...» Рассыльный одна нога здесь, другая там. Обернулся мигом. «Заперта аптека, товарищ капитан, — докладывает, — но лекарства я вам принес. Самого верного — бутылку жигулевского пива!»

Но вскоре мне стало не до шуток. Внезапно замолчала Оля. Она и раньше не баловала меня своим вниманием, писала на одной стороне тетрадного листка, а то и вовсе несколько строк на ярлыке от молочной фляги: жива, здорова, люблю, целую.

Ясность внесла мама. Она сообщила, что нежданно-негаданно свалилось на Олину голову новое несчастье: мать ее, Акулину, разбил паралич. В одночасье, хмельную, возле чужого подворья. Больную возили в районную клинику, но и там ей не сумели ничем помочь, онемела у нее вся правая половина тела. Знать, навсегда отплясалась и отпелась беззаботная бражница Акулина Лапина. Только почему не поделилась Оля горем своим со мной? Или я не самый близкий ей человек?

ГЛАВА 15

«Несколько мыслей о командирском авторитете. Искусственно его никому не создашь, образуется он по крупицам незримо и неисповедимо. Важны даже интонации голоса. Криком ничего не добьешься. Заискиванием и псевдодемократизмом тоже. Котс, к примеру, не забивал козла в матросском кубрике, даже по трансляции не часто обращался к экипажу. Но если уж просил о чем-то, то знал: матросы расшибутся, а выполнят. Коли говорит сам командир, значит, дело исключительно важное. Котс умел влиять своим авторитетом. Ну, а я сам? Я тоже чувствую, что личный состав меня уважает. Исключение составляет, пожалуй, лишь комендор Болотников. Но если командира не любит хотя бы один человек, авторитет его, несомненно, страдает...»

Поздно ночью «тридцатка» покидает бухту, отправляясь в свое первое большое плавание. Проплывает мимо темная полоска береговой черты, что-то мигает прожектором рейдовый буксир.

В открытом море лодку встречает свежая погода. Да и не удивительно: ноябрь на исходе, наступает время коварных черноморских норд-остов. Костров уже почувствовал, что короткая и крутая здешняя волна ничуть не милосерднее океанской.

По заданию «тридцатке» предстоит двухсуточная стоянка на внешнем рейде Цемесской бухты, где ей назначена исходная точка для развертывания.

Костров впервые в этих местах. Он с любопытством глядит на раскинувшийся амфитеатром город Новороссийск, под которым была легендарная Малая земля, обильно политая кровью отважных десантников-куниковцев. Мысленно он склоняет голову возле обелисков, похожих отсюда на белые карандаши.

— О, побачьте, товарищ командир! — говорит за его спиной поднявшийся на мостик боцман Тятько. — Дюже захвилювався старик Варада. Це поганая примета!

И он показывает рукой на цепочку гор, тянущуюся на юго-восток от Новороссийска. Над их лысыми макушками клубится грязно-серая пелена.

— Надо срочно выбирать якорь, — поддержал боцмана старпом Левченко.

В душе Костров посмеивается над их страхами. Море совсем тихое, а из рваных белесых облаков, неподвижно застрявших над лодкой, сыплет мелкий снежок.

Пока играется аврал, на глазах у всех, кто стоит наверху, происходит невообразимое. Внезапно, словно сорвавшись с привязи, поднимается ветер. Видно, как он мчится от берега, срывая пенные клочья с ощетинившегося моря. Все вокруг становится темно-свинцовым, зловещим. А через несколько минут лодку по самую рубку окатывают волны, их пенные гребни тянутся к мостику.

— Это бора! — кричит в ухо Кострову Левченко.

Натягиваясь струной, хлещет по корпусу якорная цепь. «Только бы выдержал мотор брашпиля», — тревожно думает Костров. И тут же в носовой надстройке раздается металлический лязг.

— Застопорен выбор якорь-цепи, — поступает доклад на мостик.

Из рубочного люка вылетает взъерошенный боцман.

— Лопнул отсекатель! — растерянно кричит он. — Якорь-цепь накрутилась на брашпиль!

— Приготовиться расклепать! — приказывает Костров.

— Поторопитесь, боцман, не то нас выкинет на камни! — добавляет Левченко.

— Есть!

Мичман спешит на палубу. Набежавшие валы сбивают его с ног, но Тятько цепко держится за леер.

— Пришлите мне на допомогу хлопца подюжее! — стараясь перекричать грохот и свист, просит боцман. — И пусть захватит лом! Поняли? Нужен лом!

Не задумываясь, Костров вызывает наверх Генъку Лапина. Две фигурки копошатся у самого форштевня. Многотонные громады воды, готовые все смять на своем пути, обрушиваются на палубу с таким шумом, что у всех стоящих на мостике замирают сердца. Но скатывается волна, люди поднимаются на ноги, и мерный стук кувалды вновь сотрясает лодку. Вскидывается на гребне волны стальная лючина и долго еще держится на поверхности моря, словно щепа.

А боцман с Генькой скрываются в надстройке. И только когда снова начинает громыхать и дергаться якорная цепь, Костров понимает замысел мичмана Тятько. Тот решил спасти якорь и якорь-цепь, с помощью лома вручную направляя ее звенья в горло цистерны.

Костров представил себе, как Генька лежит на боку, вытянув в мучительном напряжении руки, жидкая грязь стекает прямо на него, а он не может даже вытереть лицо. Холодок прошел по спине у Кострова. Разве сможет Генька выдержать такую нечеловеческую нагрузку? Ослабнут руки, вырвется лом, и... Но цепь все продолжает погромыхивать, а вот и сам полутонный якорь гулко ударяется о корпус лодки.

Боцман с Генькой разом выныривают из-под палубы, по лееру добираются к рубке. Им помогают подняться на мостик — мокрым, облепленным илом.

Чем дальше отходит лодка от берега, тем ощутимее становится качка. Железо покрывается сизой пленкой льда. Да, это бора — грозный ураган, временами потрясающий северное побережье Кавказа. Никогда еще Костров не видел Черное море таким диким и разъяренным. Оно

бурлило и вздымалось, как кипящее молоко, брызги, замерзая на лету, свистели, словно пули. Впереди, застилая горизонт, бесновалась клубящаяся мгла.

Оставив за себя старпома, Костров спускается вниз. Следом за ним в колодец люка врывается вода, могучим шлепком поддает в спину и швыряет его на паёлы центрального отсека.

Несколько секунд он ничего не слышит, так резко ударяет по ушам тишина. Потом он приходит в себя, и обыденность обстановки на боевых постах приятно удивляет его. Словно и не свирепствует наверху девятибалльный шторм. Спокойно и деловито работают возле механизмов люди, и только кожа на их скулах стала чуть зеленоватого оттенка.

— Побачьте, товарищ командир, какого гопака отплясывает кренометр, — показывает боцман на черную шкалу, вдоль которой мотается остроносая стрелка. Он успел уже переодеться в сухое и теперь помогает молодому рулевому удерживать лодку на курсе.

— Где Лапин? — спрашивает у него Костров.

— В четвертом. Спит, — улыбается мичман. — Доктор ему полстакана девяностоградусного плеснул. А хлопец он гарный оказался, товарищ командир. Теперь я розумию, отчего он робу снашивает. То силушка из него прет...

Костров проходит в четвертый отсек. Генька сладко похрапывает на диване, упершись коленями в переборку. Кто-то заботливо укрыл его альпаковой курткой.

Из записок Кострова

Новый год мы встретили на рейде. В точке якорной стоянки за кромкой льда. Вокруг старательно распахивал океан неугомонный сиверко; волны, окатывая лодочные бока, украшали их сосульками. Не верилось, что где-то ярко горят огни в окнах домов, пахнут лесом смолистые, наряженные елки, накрываются праздничные столы.

Над нами же светили в небе неяркие зимние звезды, а в бурой водяной пустыне не слышно было даже крика чаек. Правда, в отсеке стояла крохотная сосенка, загодя припасенная боцманом. Но мне было больно смотреть на это чахлое создание природы, печально опустившее вялые ветки.

Причиной моей хандры явилось какое-то неясное предчувствие, теснившее грудь. Совсем как в детстве, накануне гибели отца, когда внезапно перестали приходить его солдатские треугольники.

В начале февраля мы встали к причалу. Почтальон вручил мне тощую стопочку писем. Ольгиных среди них не было, да и не могло быть. Это я понял, разорвав самоклеенный мамин конверт.

«...Тяжело мне писать тебе про такое, сынок, но хуже будет, если узнаешь все от чужих людей. Змею привечали мы в своем доме, делились куском, как с родной... Скрылась Ольгуша от пересудов в полугрудовском леспромхозе. Избу Филиппу Лапину отдала, почитай, за бесценок, тот своего старшого выделить решил. Свадьбы у нее с Ефимом никакой не было. Прикатил избач на грузовике и покидал в кузов все их манатки. Тещу богоданную в кабине устроил, а сам с женой и шурином наверху поехал. Говорили мне, подрядился Ефим в леспромхоз трелевщиком, ему и квартиру дали в бараке.

Откроюсь тебе, сынок, что намедни переезда ихоного весь вечер караулила я в проулке Ольгу. Прозябла до костей, но дождалась. А она бесстыжие глаза рукавом прикрыла. Не спрашивайте, грит, меня ни о чем, тетка Настасья! И шастанула прочь по сугробам...»

Не веря своим глазам, я еще раз перечитал письмо и судорожно скомкал его в руке. В груди моей стало пусто, будто вывернули из нее душу. Я молча глотал злые, едучие слезы и проклинал все, связанное в памяти с Ольгой. И шалаш, и школу, и лесную сторожку. Эту заброшенную развалюху я ненавидел пуще всего, за то, что была она свидетельницей обманного моего счастья.

«Разве и без сельсовета не жена я тебе теперь?» — сказала Ольга, когда, пьяные от ласк, возвращались мы из лесу домой. Каким слепым кутенком я был, принимая все за чистую правду! Полгода не прошло с тех пор — и вот я уже узнал истинную цену ее любви.

Мне стало нестерпимо душно в каюте. Простоволосый, в одном кителе выбрался я на палубу «Черной Ляли» и, как после сердечного приступа, стал хватать ртом осевший на поручнях рыхлый снег. Возле бортов плавказармы со скрежетом лопался от мороза лед, за ночь он едва успевал схватываться за железо, а по утрам его обкалывали

пешнями. Было очень студено в тот вечер. На равнодушном небе сиротливо желтел огрызок луны, окутанный рваным шарфом изморози. Вахтенный возле сходни прятал нос в поднятый воротник тулупа, а я не чувствовал стужи.

Не знаю, сколько я пробыл на жгучем ветру. После, уйдя в каюту, всю ночь напролет маялся без сна, опустошенный и растерянный.

Утром я, как и все, выполнял корабельный распорядок. Вокруг меня приказывали и выполняли приказания, шутили и сердились, а я был безнадежно одинок, словно меня не касались никакие земные дела.

Я был искренне благодарен Вадиму Мошковцеву, заглянувшему после ужина ко мне в каюту.

— Хандришь, старик?— пытливо глянул на меня он.— Собирайся, и пошли.

— Куда?

— Туда, где нас ждут!

Я согласился потому, что было мне все равно, куда идти, безразлично, с кем быть, лишь бы не оставаться одному.

Вадим привел меня в шумную компанию, которую собрали в своем общежитии девчата-засольщицы. Все они были рослые, плечистые и грудастые. Хрупким не выдюжить смены возле прожорливых чанов. Зарабатывали девушки хорошо, денег на духи не жалели, собираясь в гости, выливали на себя чуть ли не по флакону. Но рыбный дух перебивал любую парфюмерию.

Меня усадили возле разбитной черноглазой девицы с разбросанными по плечам соломенно-желтыми прядями волос. Белый пуховый свитер плотно обтягивал ее грудь, узкая юбка подчеркивала пышные бедра. Ее можно было бы назвать красивой, если бы не крупный рот с чуть вывернутыми губами, накрашенными яркой сиреневой помадой. Звали мою соседку Светланой. Приняв из ее рук налитый под «марусин поясок» стакан, я внутренне содрогнулся. Пить разбавленный спирт я не мог, его тепловатый одеколонный привкус вызывал отвращение, а к убойной силе чистого я не мог привыкнуть.

— Чего же вы смотрите на него, как грешник на святую воду? — усмехнулась Светлана. — Берите пример с женского пола, — и, не поморщившись, осушила свою рюмку.

Женщины чутки к чужой беде. Соседка быстро заметила, что я не в настроении, и не приставала с разговорами, а только подливала в мой стакан. Может, хотела хмелем заглушить мою тоску.

Но хмель меня не брал, а тоска становилась все нестерпимее. За полночь она выгнала меня на улицу. Светлана поднялась было, чтобы проводить, но, увидев мой взгляд, остановилась на полпути.

Было на редкость тепло и безветренно. Луна перестала ежиться от мороза и походила на кривой мазок кистью в углу огромного серого холста, украшенного бисером звезд. Не застегнув шинели, будоража окрестных лаек, я кружил по сонным улицам рыбацкого поселка до тех пор, пока не наткнулся на комендантский патруль.

Старший патруля, такой же лейтенант, как и я, вовсе не желал мне зла. Отозвав меня в сторону, предложил застегнуться и посоветовал отправляться в часть. Обида и злость, целые сутки душившие меня, выплеснулись па этого вежливого офицера. Так среди ночи я оказался в базовой комендатуре.

Утром я объяснялся с Котсом в его каюте. И не стал юлить, а рассказал все, как было: напился и нахамил патрульному. Командир спокойно выслушал меня, усмехнувшись краешком губ.

— Вы, Костров, слышали анекдот о пьяницах? — спросил он. — Так вот: эти типы делятся на три категории — малопьющие, застенчивые и выносливые. Одних из кабака на руках выносят, другие сами идут, придерживаясь за стенку, а третьим, сколько ни наливай, все мало. К какой категории вы причисляете себя?

Я ожидал возмущения, даже оскорблений в свой адрес, но не подобного балагурства.

— Затрудняетесь с ответом? — невозмутимо продолжал Котс. — Ну что ж, за десять суток вы чего-нибудь надумаете. Вернетесь, продолжим наш разговор.

Гауптвахта находилась на другой стороне залива. Берегом туда дороги не было, и зимой в те края изредка ходил ледокольный буксир. Несколько дней мне пришлось дожидаться оказии. Это было унизительное ожидание. Я чувствовал себя так, словно на моем лбу горело клеймо каторжника.

А в камере я и вовсе скис. Почти не прикасаясь к еде, с утра до вечера, как паук-землемер, крестил ногами бе-

тонный пол и бормотал, словно помешанный. Дверь камеры не запиралась, но за нею был серый цементированный дворик, в который выходили забранные решетками окна, а за ними — любопытные глаза моих сотоварищей по несчастью.

Придя в себя, я от безделья, а еще больше с досады стал пародировать «Евгения Онегина», которого знал наизусть целыми главами:

Жилплощадь, где страдал Евгений,
Была занятный уголок,
Все стены, даже потолок
Полны там были изречений
По адресу богов небесных,
А также в честь земных и местных.

В другое время за кощунство над Пушкиным я бы вырвал грешный свой язык.

ГЛАВА 16

«Левченко вызывали в кадры. Предложили хорошую должность в штабе флота. Наотрез отказался: хочет плавать. Кадровики пытались внушить ему, что без классов командиром его не назначат. Что это — вялковская теория правой стороны груди? Какая нелепость! Ведь Юрий во всех отношениях подготовлен не хуже иного «академика». Он ужасно расстроен, я его понимаю и сочувствую от души. Но не знаю, как же ему помочь. А что, если решиться и написать рапорт самому главкому?..»

В базу в тот раз Камеев возвратился темнее тучи.

— Доволен? — желчно выдохнул он в лицо Кострову. — Поднес другу фигу? Ну давай, выслуживайся, может, начальником штаба возьмут...

Сутулясь и сразу постарев, зашагал прочь.

— Вячеслав Георгиевич, постойте! — окликнул его расстроенный Костров. Но Камеев даже не оглянулся на его зов.

Только он не умеет долго выдерживать характер и первым подошел мириться.

— Ловко ты меня провел, Шурик,— разминая пальцами сигарету, улыбается он.— Я уже торпедные аппараты приготовил, а ты вдруг как сквозь землю провалился! Ты — молодой талант, не чета нам, обычным ремесленникам.

— Бросьте прибедняться,— товарищ капитан второго ранга,— усмехается Костров.— У вас в активе пуд соли...

— Зато у тебя все впереди, — продолжает свое Камеев, — год-другой потрешься на мостике, и пожалуйте в академию! А тут одна дорога: лодку на слом, самому на пенсию.

— В академии двери для всех открыты,— замечает Костров.

— Не скажи! — восклицает Камеев. — В мое время верблюду легче было в игольное ушко пролезть. Мне, к примеру, трижды по молодости отказывали, а в четвертый раз потому, что устарел. Ну да аллах с ними, каждому — свое. Ну, а к нам ты собираешься заглянуть? — переводит он разговор на другое.

— Дел невпроворот. Сами знаете.

— Да, да! На амуры ты время находишь, — ухмыляется Камеев, но, увидев потемневшее лицо Кострова, поспешно отрабатывает задний ход:— Шучу, шучу! Словом, чтобы в субботу ты был у нас. Есть причина: моей Лидухе — только по секрету! — стукнет четыре десятка. Встретишь кое-кого из общих приятелей,— хитровато прищуривается он.

С огромным букетом роз Костров заявляется в кэчевский «голубятник». Среди гостей Камеевых он видит знакомых командиров и офицеров штаба с женами, начальника гарнизонного Дома офицеров со взрослой дочерью и еще нескольких человек.

— Здравствуйте, пропащая душа, — укоризненно говорит Кострову Лидия Дмитриевна, подставляя щеку для поцелуя.

Хотя некоторые из гостей проявляют нетерпение, Костров понимает, что хозяева ждут еще кого-то. Услышав звонок, с необычной поспешностью торопятся к двери.

Когда из прихожей в гостиную входит Мирский, Костров инстинктивно вскакивает с дивана, испытывая обычную в таких случаях неловкость. И не он один.

— Сидите, сидите, товарищи, — говорит адмирал.

В сером гражданском костюме он совсем не похож на педантичного адмирала, словно вместе с мундиром снял всю свою строгость. Сейчас это просто пожилой глава семейства. Рядом с ним жена, высокая располневшая женщина.

— Алевтина Корнеевна, — негромко, с достоинством называется она, подавая присутствующим узкую, но жесткую, как у селянки, руку.

А взгляд Камеева светится неподдельным торжеством: «Многие ли из вас удостаивались подобной чести?!»

Мирских сажают подле именинницы. Костров тоже оказывается неподалеку. Украдкой поглядывает на супругу адмирала. Адмиралов за свою службу он перевидал немало, а вот с адмиральшей впервые привелось познакомиться. Чуть погодя ему становится ясно, что визитом столь высоких гостей Камеев обязан жене. Обе женщины называют друг друга на «ты», по всему чувствуется, что они давние подруги.

Сам Мирский тоже держится просто, но с большим тактом, не давая забыть разницу в служебном положении. Охотно поднимает свой бокал, шутит с соседями по столу, но, когда кто-нибудь пробует завести речь о штабных делах, адмирал останавливает говоруна протестующим жестом:

— С этим прошу завтра в мой кабинет!

Хозяева, да и кое-кто из гостей относятся к нему с подчеркнутым вниманием, а в разгар веселья Камеев просит его рассказать один из боевых эпизодов.

К удивлению Кострова, адмирал соглашается.

— Ну что ж, — говорит он,— если вы позволите, я расскажу о самом трудном месяце моей службы... Было это летом сорок четвертого,— хитровато прищурившись, начинает Мирский. — Война на Черном море фактически уже закончилась. В ту пору я командовал «малюткой». Мужчины знают, что это была за лодка: три каютки со шкаф размером и одна койка на двоих в жилом отсеке. Понятие уюта было весьма условным. Плавали под моим началом матросы военного призыва, люди разных возрастов, от юнцов до бородачей.

Вызывают меня однажды к начальству. «Капитан-лейтенант Мирский, вам поручается правительственное задание. Будете испытывать новый акустический прибор. Наш, отечественный».

Назавтра привели на лодку группу конструкторов. И среди них женщина. Видная дамочка, у которой, как говорится, все на месте. Поселил ее в шкафу помощника. Отплыли. А надо заметить, что батарея у нас была старенькая, замученная. Чуть погрузимся и дадим ход — в

отсеках баня. Ртуть из термометров едва не выпрыгивает. Ляжешь вздремнуть — дверь каюты прикрыть нельзя: сваришься, как лосось, в собственном соку... А напротив мается в одной рубашечке наша конструкторша. Железную волю надо иметь, чтобы не екнуло изголодавшееся за войну по женской ласке сердечко.

В общем, не выдержал я искушения и перебрался спать к матросам в отсек. И не со мной одним такая история. Приходит как-то ко мне старшина электриков, отличный специалист, уважаемый в экипаже человек. «Переведите меня на другой боевой пост, товарищ командир, — говорит. — Не могу я здесь вахту нести!» — «Ты не можешь, — отвечаю,— а другой, по-твоему, сможет?»

Так и плавали целых четыре недели. Но прибор все-таки испытали. Когда же возвратились в базу, то получила наша конструкторша восемь предложений руки и сердца!

— Ну и кого же она выбрала? — любопытствует одна из женщин.

— Это уже неважно, — отвечает ей адмирал. — А закончить свой рассказ, — продолжает он, — я хочу старинным грузинским тостом: когда задумает господь покарать людей за их прегрешения, то пусть делает все, что ему захочется, только не оставляет мужчин на земле одних!

Кострову приятно, что комдив так умело перевел в шутку откровенно заискивающее предложение хозяев. Другой бы попался на удочку, пустился в пространные воспоминания, которые всем пришлось бы деликатно выслушивать.

Адмирал Мирский все более прочно завоевывал его симпатии.

Из записок Кострова

Еще на гауптвахте я все окончательно решил. Мечта, которую я пестовал годами, лопнула, как мыльный пузырь. «Да, бывший лейтенант Костров, — иронизировал я над собой, — не вышло из вас морского офицера. Придется переквалифицироваться по наследственной специальности — в хлеборобы».

Вскоре после своего бесславного возвращения на лодку я принес командиру выстраданный бессонной ночью рапорт.

— Что же просит самый младший? — насмешливо прищурился Котс, разворачивая сложенный вдвое лист. — Ага, всего-навсего увольнения в запас!

У меня заныло под ложечкой, когда командир взял в руки толстый цветной карандаш, но тут же кровь бросилась мне в лицо. Крупными лиловыми буквами Котс вывел в правом верхнем углу резолюцию: «Мальчишка. Слюнтяй». И заверил это своей подписью.

— Теперь можете на меня жаловаться. Кому угодно, — возвращая мне рапорт, уже без улыбки сказал он.

Я хотел возмутиться, ответить па оскорбление, но горло перехватило предательской спазмой, изо рта вырвался лишь какой-то сиплый писк.

— Слушайте, лейтенант, — стуча костяшками пальцев по столу, сказал командир. — Я не психолог и, что творится у вас на душе, не знаю. Но ведете вы себя, как издерганная барышня. Раскисли после первых же неудач, а на флоте лучше иметь мягкий шанкр, чем мягкий характер! Грубо сказано, но в самую точку...

Котс помолчал чуток, продолжая выбивать пальцами барабанную дробь, потом снова заговорил, старательно подбирая слова:

— Не знаю, преподавали вам это в училище или нет, но офицер должен уметь не только в любой момент взять себя в руки, но и навязать свою волю другим...

— Это прописные истины, товарищ командир, — обрел я дар речи.

— Прописные, говорите? — повысил голос Котс. — А знаете ли вы, что в войну эти истины прописывались кровью? Я сам в сорок третьем году купался в Мотовском заливе. Почти с того света меня выудили. А почему? Потому, что во время боя мотор на моем катере скис. Моторист мой поспать любил и матчасть свою в черпом теле держал. А у меня духу не хватало моториста того приструнить — в отцы он мне годился. И пошел тот моторист ко дпу, а с ним еще шестеро отличных парней... Вся наша служба, Костров, — добавил Котс после новой долгой паузы, — состоит из этих самых, как вы говорите, прописных истин. Называются они: дисциплипа, организованность, боеготовность! И где бы вы ни служили, в каких бы ни были чинах — вам от этих истин пе уйти. Поймите это, лейтенант Костров!

— Ясно, товарищ командир, — едва слышно сказал я.

— А коли ясно, то беритесь за дело по-настоящему. Я вижу, море вы любите. Но чтобы стать хорошим моряком, этого мало. Надо полюбить и всю изнанку морской службы: и наряды, и авралы, и осмотры... Надо полюбить, лейтенант Костров! — закончил он с нажимом на слове «надо».

Я знал, что капитан второго ранга Котс из «народников». Так называли тех, кто не заканчивал высшего училища. Наш командир вырос от боцмана торпедного катера до командира подводный лодки, имея за плечами всего лишь краткосрочные офицерские курсы. Но, к удивлению многих, любил высшую математику, которую осилил самостоятельно. Особенно увлекался он статистикой. Карманы его кителя были полны блокнотами, в которые Котс записывал свои наблюдения за действиями личного состава, показанные на учениях нормативы, а потом переводил все их на проценты. Страсть к экспериментированию жила в нем издавна. Еще командуя катером, Котс придумал свою собственную прицельную линейку, которая учитывала все особенности его маленького суденышка. И торпеды его редко проходили мимо цели.

Но были у Котса и непонятные мне странности. Так, лодочную гербовую печать он носил в брючном кармапчике для часов, подцепив ее на длинном шнурке к ремню. В море он почти не бывал в своей каюте, а спал прямо на линолеуме центрального поста, подстелив себе реглан.

«В академиях вам ума не дадут!» — часто повторял он на корабельных совещаниях.

Все это я считал проявлением низкой культуры. А Вадим Мошковцев говорил о моем командире как о недоучке, случайно уцелевшем в послевоенные годы. Он даже прозвал Котса «мамонтом».

— Ну, что еще выкинул твой «мамонт»? — спрашивал он иногда.

И я охотно делился с приятелем курьезными новостями. Я даже испытывал удовольствие, злословя по адресу Котса.

Теперь мне было стыдно за то, что я кичился своим училищным «поплавком». Я понял, что пе умею разбираться в людях, сужу о них поспешно, цепляясь за незначительные поступки. А ведь человек куда сложнее, чем

торпедный автомат стрельбы или счетчик минных интервалов! Я решил сделать из своего открытия самые серьезные выводы.

ГЛАВА 17

«Детской непосредственностью своей Олежка иногда вгоняет меня в краску.

— Дядя Саша, — спросил как-то он,— теперь вы будете моим папой?

Хорошо еще, что Алена была на кухне и не слышала нашего разговора.

— А ты хочешь, чтобы я стал твоим папой? — вопросом на вопрос ответил я.

— Вы— хороший, — сказал малыш, посмотрев на меня удивительно серьезным взглядом...»

Пережитая вместе опасность сближает людей. Потому Кострова ничуть не удивляет неожиданная просьба мичмана Тятько.

— Отдайте мне матроса Лапина, товарищ командир, — говорит боцман. — Вин у ракетчиков все равно за штатом, а я из хлопца зроблю классного рулевого!

— А вы спрашивали, захочет ли он в рулевые?

— Так я ж уговорю, было б дозволение ваше.

— Не думаю, боцман, — качает головой Костров.

Он-то знает, с каким увлечением работает Генька над защитным реле от случайных прыжков напряжения. Они с Кедриным решили усовершенствовать схему, чтобы исключить возможность аварии, подобно недавней. А постановка Геньки на штат — дело ближайших дней, сразу после сдачи им зачетов на управление боевым постом.

Кострова иногда подмывает спросить у него про Ольгу. Как живет она теперь, исполнилась ли ее мечта о собственном домике с палисадником возле окон? Только не стоит ворошить прошлое. Вот и Генька это понимает, ни разу не заикнулся он о сестре, хотя наверняка с ней переписывается.

За мужество, проявленное во время боры, Костров одним приказом снял с Геньки все взыскания. А еще через пару недель в командирскую каюту заглянул сияющий замполит:

— Вы знаете, товарищ командир, Лапин подал заявление в комсомол!

— Ну и что? — маскируя невозмутимостью свое волнение, ответил Костров. — Надо принимать, чтобы ликвидировать беспартийную прослойку.

— Примем, в первом же походе соберем комсомольцев. Но это еще не все. Когда я спросил Лапина о его дальнейших планах, вы знаете, что он мне ответил? Хочу, говорит, поступать в военно-морское училище!

— Значит, получит флот толкового офицера. — В душе Костров был чуточку раздосадован, что со Столяровым, а не с ним поделился замыслами Генька. Ведь первым обо всем должен узнавать командир. Но тут же отогнал прочь мелочную ревность. — Кто дает Лапину рекомендации?

— Старшина Кедрин и матрос Рябовол из стартовой команды, — отвечает Столяров.

— Ясно. Станем стопроцентным коммунистическим экипажем, и спрашивать с нас будут больше.

— Пора брать курс на отличный корабль!

— Не рановато ли, замполит?

— В самый раз, товарищ командир.

— Надо хорошенько все взвесить, Николай Артемьевич, — перешел на неофициальный тон Костров. — Дело очень серьезное, не всякому сложившемуся экипажу под силу, а мы еще без году неделю вместе плаваем. Взять обязательство — для этого много ума не треба, как говорит боцман Тятько, а вот чтобы их выполнить, надо пошевелить мозгой...

— Штурманскую БЧ можно хоть сегодня отличной объявлять, — решительно загибает пальцы Столяров.— Радиотехническую службу так же. Только с механиками и ракетчиками придется поработать.

— Ну что ж, Николай Артемьевич, давайте посоветуемся с офицерами, с партийным и комсомольским активом.

— Согласен, товарищ командир.

В тот день у Кострова состоялся еще один разговор, но уже в кабинете контр-адмирала Мирского.

— Так! — воскликнул адмирал, пробежав глазами рапорт. — Значит, предлагаете поменять вас с Левченко местами?

— Если нет другого выхода, товарищ адмирал.

— Похвальное благородство с вашей стороны, Костров, только выглядит оно мальчишеской бравадой.

— Я вам уже говорил, что мы с Левченко однокаш-

ники по училищу и по возрасту одногодки. Подготовлен он не хуже, а может, даже лучше меня. Почему я должен быть командиром, а он старпомом?

— Любопытная логика! — неожиданно улыбается Мирский. — То же самое я могу сказать о командующем флотом. И мы с ним одного, предвоенного выпуска. Я у него даже отделенным был.

— У вас совсем другое дело, товарищ адмирал.

— Отчего же? На первых порах я и по службе его обогнал. Когда я уже лодкой командовал, он всего-навсего башней на крейсере.

— И все-таки я прошу отправить мой рапорт по инстанции, — упрямо твердил свое Костров.

— В этом теперь отпала надобность, — посерьезнев, сказал комдив. — Левченко проектируется командиром новостроящейся лодки. Со дня на день будет подписан приказ.

Из записок Кострова

Опять впереди нас надсадно сипел буксир, выводил лодку за кромку льда. Нам предстояло выполнить зачетную торпедную стрельбу. И хотя зимние стрельбы перестали быть диковинкой, нам подсадили «гуся» — посредника из штаба базы.

«Неужто роют яму под Котса?» — глядя на этого полнеющего, но моложавого капитана первого ранга, думал я.

Каперанг удивил меня тем, что не стал слоняться по отсекам и вгонять в дрожь молодых матросов. Открыв припасенную книгу, он забился с нею в угол кают-компании. Книга, должно быть, захватила его. Он то и дело улыбался, потирая ладонью залысины.

— Занимайтесь своими делами, — сказал посредник нашему старпому. — Если понадобитесь, я вас приглашу.

«Ясно, послан по Котсову душу,— утвердился я в своей догадке. — Небось поступила команда освободить местечко для какого-нибудь дипломированного выскочки». И неожиданно для себя разозлился на улыбчивого штабника. Мне чертовски захотелось не дать в обиду своего командира. Но что может сделать зеленый лейтенант, да еще с подмоченной репутацией?

Не на шутку забуранило. Один снежный заряд сменялся другим. Вокруг лодки колыхался киселем и рябился

белесыми пузырями свинцово-серый зимний океан. Пологая зыбь не мешала торпедной стрельбе, зато видимость была той самой, которую моряки прозвали «куриной слепотой».

— Зря солярку жжем, товарищ командир,— осторожно заикнулся я. — Просвета не видать...

— Полный ажур, самый младший! — на удивление, бодро отозвался Котс. — Погода фирменная — тихоокеанская. Самая боевая.

Неужто он ничегошеньки не понимал? Я не вытерпел и брякнул напрямик:

— А ежели промахнемся, товарищ командир? Или торпеду потеряем? Ведь тому, в отсеке, этого только и надо...

Котс внимательно глянул на меня из-под заиндевелых бровей, озорно, по-мальчишечьи присвистнул.

— Ничего, Костров, нас с вами голыми руками не возьмешь!

Может быть, в этот момент в душе моей зародились стихи, которые я написал гораздо позже:

Серебрились виски
    из-под черной пилотки,
Круг морщин возле глаз,
    много видевших мир,
Чуть согнувшись вперед,
    характерной походкой,
Проходил он отсеками,
    мой командир.
С ним делил я в походах
    и радость, и горе.
Это он, не жалея
    ни знаний, ни сил,
Делал все, чтобы стал я
    хозяином моря,
Чтобы флотскою службой
    всю жизнь дорожил.
И когда я терялся,
    прильнув к перископу,
И когда меня качка
    за сердце брала,
Он меня по плечу,
    утешая, не хлопал,
Но суровость его
    мне подспорьем была...

Натужно покряхтывая обшивкой, наш минзаг утюжил мертвую зыбь. Он был в преклонных годах, первый советский подводный крейсер. На послужном счету у него героический штурм глубин, первые многосуточные авто-

номки в середине тридцатых годов и боевые позиции возле Курильских островов в августе сорок пятого.

Теперь уже приходили на смену подобным ему ветеранам быстроходные голубые субмарины, способные выдержать такую глубину погружения, на которой у наших стариков хрястнули бы, как прутья, стальные ребра — шпангоуты.

И все-таки я успел полюбить свой дряхлеющий корабль. Мне нравились даже его неправильные бокастые обводы с высокими барбетами, на которых стальными изваяниями застыли пушки — некогда грозное, а ныне символическое оружие. Я привык видеть с мостика его решительно задранный форштевень, горделиво увенчанный зубчатым мечом сетепрорезателя, и широкую, покрытую деревянным настилом кормовую палубу, выскобленную щетками до цвета яичного желтка.

Я знал, что не за горами тот день, когда экипажу корабля придется сойти на берег, а в его избитые тайфунами бока вонзятся огненные зубы автогена. И не жалость, а добрая грусть теснила мою грудь при этой мысли. Так, наверное, бывает даже у счастливых новоселов, когда, переезжая в новую благоустроенную квартиру, они оглядывают напоследок свое прежнее неказистое жилье, с которым связано столько воспоминаний.

Сигнал боевой тревоги прервал мои сентиментальные размышления. Сдав вахту подоспевшему старпому, я побежал к своим минерам.

Торпедные атаки меня не обременяли. Доложив о готовности к погружению, я обычно прикладывал ухо к раструбу переговорной трубы, пытаясь по обрывкам команд представить обстановку в боевой рубке. Я пребывал в роли если не простого свидетеля, то второстепенного участника происходящих событий.

На этот раз не пришлось мне прохлаждаться в минном отсеке. Неожиданно меня потребовали в центральный пост.

— Командир боевой части убит, — объявил свою вводную посредник. — Вы, лейтенант Костров, должны его заменить.

— Есть! — машинально ответил я, с трудом осознавая весь ужас своего положения.

Всего несколько раз в качестве дублера мне довелось участвовать в приготовлении торпедного оружия. Теперь,

очутившись возле пульта, с которого ресницами стрелок насмешливо подмигивали мне шкалы, я понял коварный ход улыбчивого каперанга. Он решил свалить Котса моими руками. Ведь стоит мне ошибиться хотя бы в угле растворения, и, как овцы, разбредутся по сторонам наши торпеды.

Злость неожиданно освежила мне голову. Ясно, будто по училищному конспекту, я представил всю последовательность действий и решительно крутанул первый маховичок. С этого момента я уже никого и ничего не видел вокруг себя.

Наконец, я нажал показавшуюся мне раскаленной красную кнопку «Пли!». Шумно выплюнули свою начинку торпедные аппараты, нервная дрожь еще несколько секунд сотрясала большое тело корабля. А я в изнеможении опустился на полотняную разножку. Было зябко в отсеке, матросы натянули ватники, я же стирал со лба горячий пот.

Хлопнула переборочная дверь. Это вернулся недавний «покойник». Молча потрепал меня по спине. Его жест означал: молодец, все в порядке.

А после отбоя тревоги офицеров собрали в кают-компании.

— Вы давно на лодке? — спросил меня посредник.

— Уже полгода, товарищ капитан первого ранга, — доложил я.

— Всего только? — удивился он.— Вы безошибочно решили вводную, ставлю вам «отлично»... Чувствуется ваша школа, Юлий Оскарович, — повернулся он к командиру. — Когда-то я и сам эту школу прошел, — обращаясь ко всем, с улыбкой добавил посредник.

ГЛАВА 18

«Я всегда дорожил своей порядочностью. Компромиссы чужды моему характеру. Так почему же теперь мне так трудно принять решение? Ведь я чувствую, что и Елена тоже мучается неопределенностью. Она не из тех, кто любыми способами стараются устроить свою судьбу, она поймет и не осудит всякий мой шаг. Но я не имею права воспользоваться ее доверчивостью, а для того чтобы прекратить наши странные отношения, у меня не хватает духу...»

Костров одним из первых поздравляет Юрия Левченко с новым назначением. Он искренне радуется, что у того, кажется, заканчивается полоса неудач. Совсем недавно жена написала Юрию, что их Игоряшка понемногу начинает ходить. Что ж, для хорошего человека и двойного счастья не жалко!

Старпомовские дела на «тридцатке» принимает капитан-лейтенант Болотников. Когда он узнал, что его кандидатуру предложил Костров, он потемнел и несколько дней ходил, не поднимая глаз. Потом попросил резрешения на конфиденциальный разговор.

— Нам вместе служить, товарищ командир, — делая над собой усилие, сказал капитан-лейтенапт. — И я хочу, чтобы вы знали все...

— Я не требую от вас, Зиновий Николаевич, личных секретов.

— Это не секрет, это просто непорядочный поступок с моей стороны... За вашей спиной я ходил к флагманскому специалисту и требовал списания матроса Лапина. И не очень лестно говорил тогда о вас...

— Спасибо за откровенность. Я думаю, что впредь наши взаимоотношения будут более прямыми... Кстати, как вы смотрите на то, чтобы Лапина рекомендовать в военно-морское училище?

— Я не возражаю, товарищ командир.

В первую же субботу назначается традиционное «производство» Юрия Левченко в командиры. Для этого снят уютный ресторанчик «Прибой», стоящий на свайном фундаменте в самом углу набережной. Правда, он летнего типа и сейчас температура в нем бодрящая. Под настылым полом шебаршат холодные зимние волны, по залу гуляет пронизывающий сквознячок.

В центре банкетного стола — старший по возрасту и выслуге лет командир, он же тамада, бритоголовый Антонов. Рядом с ним — виновник торжества, которое идет по строго регламентированному церемониалу.

Заказан пятизвездный коньяк — соответствующий чину нового командира, а бокал Юрия Левченко размечен цветным карандашом, словно лодочный форштевень марками углубления.

— Все в сборе? — спрашивает Антонов и поднимает командирский нагрудный знак — серебристую лодочку. Звонко тенькнув, она падает на дно размеченного бокала.

— Почтим же, други, нашим вниманием нового товарища, — говорит тамада. — Пусть он знает, что будем мы ему добрыми учителями и советчиками!

В торжественной тишине бокал идет по кругу, и каждый отпивает по маленькому глотку, стараясь не пропустить свою метку. Последний глоток должен достаться производимому, чтобы тот мог вынуть заветный знак.

Весь ритуал продуман до тонкостей. Даже официантку временно выставили за дверь. В зале осталось суровое мужское морское братство.

— Желаем мы тебе, наш молодой друг, большого плавания, а твоему кораблю прочности прочного корпуса, и чтобы число погружений у вас всегда равнялось количеству всплытий! — глуховатым баском произносит Антонов.

Костров тоже смотрит на Левченко и думает о том, как преображает офицера гордая приставка к его имени — командир. Юрий вроде и ростом стал выше, расправились горестные морщинки возле его глаз, а на лице появилось выражение уверенности.

Пусть лодка Юрия еще не знавалась с морской волной, борта ее омывает пока маслянистая вода заводского затона, но так уж повелось на флоте: командир первым ступает на палубу новорожденного корабля и последним покидает его в случае гибели.

Мысли Кострова невольно переносятся в прошлое. Вспоминается ему, как не вытирал слез огромный человечище капитан второго ранга Котс, целуя напоследок обветренное полотнище кормового флага отплававшего свое корабля.

Пусть корабли не умирают,
А лишь меняют облик свой,
Но в превращеньях забирают
Привязанность сердец с собой.

Из записок Кострова

Телеграмму доставили ночью. Накануне был трудный день, я спал как убитый, рассыльный долго не мог меня растормошить.

— Товарищ лейтенант... Товарищ лейтенант... — как заведенный, повторял он

— Что такое? Тревога? — очнулся я наконец.

— Никак нет. Вас к дежурному по части.

Я знал, что на дежурство заступил капитан второго ранга Котс. «Тоже мне, метод воспитания — поднимать среди ночи», — злился я, путаясь ногами в штанинах.

— Заходи, Александр Владимирович, — приветливо сказал командир, когда я появился на пороге дежурки.

То, что он впервые назвал меня по имени-отчеству, настораживало. Взгляд Котса тоже был необычно серьезен, брови сведены к переносице.

— У тебя большое несчастье, — продолжал он. — Мужайся и не раскисай.

— Мама? — беззвучно выдохнул я.

Командир протянул мне телеграмму. Скупые строки разили, как пули.

— Не теряй времени, лейтенант. Срочно гони на аэродром. Документы готовы. Самолет в шесть утра.

Шофер гнал машину на полной скорости. Расхлябанная полуторка взбрыкивала на пригорках, я ударялся головой о фанерный верх кабины и не чувствовал боли.

В аэропорту шофер ругался с кассирами, ходил звонить начальнику, а я даже не поблагодарил, когда он принес мне билет.

Самолет не улетел далеко и застрял в Иркутске. Над Восточной Сибирью стоял циклон. Пришлось пересесть на поезд.

В Костры я добрался на третий день после похорон. Со двора еще не вынесли груды еловых лап. Ломкие, смерзшиеся ветки были прибиты на воротах. Дверь избы была заперта на ржавый амбарный замок.

Двоюродная тетка Лукерья Кострова принесла мне ключ.

— В одночасье преставилась Настасьюшка,— запричитала она, утираясь латаным передником. — Загодя вечор еще ходила за скотиной, а утром застали ее в беспамятстве. Все тебя кликала: сыночек, Шуренька... Пока гоняли за лекарем, она и кончилась. Грудная жаба, сказали, ее задавила. А ведь единого разочка не пожалилась, что в грудях болит!.. Охо-хошеньки святы, все под богом ходим. Сегодня живы, а завтрашним часом в сыру землицу покладут... В избе, Санечка, — уже без слез, деловито заговорила тетка, — как есть ничего не тронули, тебя дожидались. Только Милушку я к себе в пригон свела, рядом с Буренкой нашей поставила. Так за ними обеймя мне ходить сподручнее.

— Пусть и остается корова у вас, тетка Лукерья, — сказал я.

— Легко ты добром швыряешься, племяш! Оттого, может, что сам не наживал. На корову я тебе мигом покупателей позычу. Деньги-то небось не лишние.

— Хватает мне денег, тетка. Я вам дарю Милушку.

— Тогда я тебе хошь избу продать номогу, — затараторила обрадованная Лукерья. — Сруб у нее справный, тысяч восемь можно запросить...

— Это потом, тетка Лукерья. Теперь извините, я к маме пойду.

— И в горницу не заглянешь?

— После, когда вернусь.

Мамина могила, еще не запорошенная снегом, чернела на самом краю погоста. В изголовье венки можжевеловых и еловых ветвей — зимних сибирских цветов. Отметины над холмом пока не сделали. Не решили без меня, что ставить: крест или пирамидку со звездой. Только чуть поодаль вкопали узкую некрашеную скамью.

Я присел на краешек, задумался, и в памяти воскресли все обиды, когда-либо причиненные маме. Начиная с давней, мальчишечьей, когда я поспорил с дружком, что попаду из ружья в его подброшенную шапку, а он по моей промажет. Я разнес его треух в клочья, но и он всадил весь заряд дробовика в мою ушанку. Шапка стоила полтораста рублей, деньги для нас немалые, но мама не изругала меня, только горько вздохнула и укоризненно покачала головой. До сих пор я не забыл ее тогдашнего взгляда.

Мама плакала редко, а может, таила от меня свои слезы. Повзрослев, я осознал по-настоящему, скольких трудов и лишений стоило ей, малограмотной женщине, поднять меня на ноги. Много лет она жила ради меня одного, а я даже не закрыл ее смертных очей...

Было совсем темно, когда я возвратился в село. Темные, слепые окна нашей избы нагнетали звериную тоску. Хотелось упасть на холодный снег, кататься по нему и реветь в голос.

Шатаясь, как хмельной, я вошел в безмолвную горницу. Она была жарко натоплена, пропахла насквозь смолой и сгоревшими свечами. Я не стал включать свет, чтобы не видеть вещей, еще хранящих тепло маминых рук. Сидел впотьмах, облокотясь на подоконник.

Утром ко мне вереницей потянулись односельчане, почти половина из них — мои дальние родственники. Старики входили молча, истово крестились на пустую божницу, молодые участливо обнимали меня за плечи. Мне полегчало от доброго людского сочувствия.

После весь околоток пособлял мне готовить поминальный ужин. Я выложил все свои деньги, но бабы потратили лишь треть их — на водку. А харчей наносили из своих запасов.

Поминки устроили по старому обычаю: заходили поочередно в нашу тесную светелку, выпивали чарку за то, чтобы пухом стала земля покойнице, и уступали место другим.

Под конец со мной осталась только близкая родня.

— Славно схоронили Настасьюшку, пусть не будет маятно ее душе, — лопотала захмелевшая тетка Лукерья. — Гробок-от плисом выстелили, накрыли кружевной простыней. Почитай, при всем люду выносили... Даже зазнобушка твоя неверная, — шепнула мне на ухо тетка, — и та прикатила из Полугрудовой. Слез на похоронах не жалела...

И Ольга была здесь. Все эти дни я старался не думать о ней, но теперь, после пьяных Лукерьиных речей, я понял, что не смогу уехать, не повидав ее в последний раз.

Назавтра я отправился в леспромхоз. Найти Сергеевых не составляло труда. Рабочие жили в больших тесовых бараках возле распилочных мастерских. Но подняться по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж у меня не хватило мужества. Я вернулся назад уже от самой простеженной войлоком двери. Перешел на другую сторону неширокого проулка и, встав возле забора, тоскливо смотрел на блеклые окна, за которыми маячили неясные тени.

Кто-то вдруг вышел из ворот. Я не столь разглядел, как чутьем угадал Ефима. Захотелось выломать плаху и укрыться внутри чужого двора от его глаз, но на мое счастье он пошел в другую сторону.

Одним махом я взлетел по лестнице, постучал кулаком о косяк.

— Войдите! — донеслось из-за двери.

Я перешагнул через порог и увидел белое, без кровинки, Ольгино лицо. Она сидела за кухонным столом, судорожно зажав в руке оловянную ложку.

Ольга очень изменилась за эти полгода. Поблекли яр-

кие прежде губы, на подбородке проступили коричневые пятна.

— Олька, кто к нам пришел? — донесся из комнаты скрипучий голос Акулины. Ольга не ответила, ее полные муки глаза были обращены ко мне.

— Я хочу поговорить с тобой, Оля, — сказал я. — Выйди со мной на улицу. Всего на несколько минут...

— Хорошо. Присядь пока, Саша. Да ты не бойся, он ушел в ночную смену...

Ольга суетливо прошлась по кухне, торопливо повязала платок, накинула шубейку.

На улице смеркалось. Сизые сумерки обложили небо. Резко хрустел под ногами утоптанный снег.

— Я была на похоронах, — первой заговорила Ольга. — Бедная Настасья Петровна... Ей бы еще жить да жить!

Я не отозвался, потрясенный страшной мыслью о том, что рядом со мною идет бесконечно любимый и безвозвратно потерянный человек.

— Саша! — тоскливо воскликнула она, остановясь. — Зачем ты пришел к нам?! Если бы ты знал, как мне сейчас тяжело...

Ее руки обвили мою шею, мокрая щека прижалась к моей щеке.

— Радость моя! Я тебе сделала больно, я знаю. Но погодя ты все поймешь и простишь...

— За что ты мучаешь меня? — обессиленно прохрипел я.

— Я всегда любила тебя... Одного... Я и сейчас тебя люблю...

— Замолчи! — грубо отстранил я ее. Дальше невозможно было терпеть эту пытку.

— Сашенька, милый! Ты умный и талантливый. А я бы не принесла тебе счастья. Погубила бы все твои мечты! Разве могла я повесить тебе на шею такую обузу? Себя, дуру деревенскую, больную мать, брата малого. Через год ты бы уже проклинал свою слабость...

— Ты совсем не любила меня, Ольга...

— Не надо страдать, родной мой! Так будет лучше для нас обоих. А счастье то недолгое, что было у нас с тобой, я буду помнить всю жизнь...

— Чей у тебя будет ребенок? — спросил я, хватаясь, как утопающий, за последнюю соломинку.

— Четыре месяца всего, как я беременна. Разве ты не видишь? — грустно усмехнулась она и, не сдержав рыданий, уткнулась лицом в колючий борт моей шинели.

Так мы и стояли посреди пустой и равнодушной улицы. На подворьях лениво тявкали собаки, ветер поднимал возле наших ног поземку, унося прочь взвихренный рой серебристых снежинок.

ГЛАВА 19

«Снова крепко поспорил с Камеевым. Не согласен с его заявлением, что морская служба утратила былую свою романтику и превратилась в обычное ремесло. На мой взгляд, все обстоит иначе: просто во все времена были подобные Камееву командиры-ремесленники. У них хватало духу пройти трудный путь до ходового мостика корабля, а потом они успокаивались, теряли перспективу и превращались в шкиперов, знающих одни только ручки машинного телеграфа...»

В штабе базы Костров встречает командира противолодочного дивизиона Вялкова.

— Никак мы снова друзья-соперники? — улыбается Михаил.

— Возможно, — отвечает Костров.

— Охранением конвоя «синих» командую я.

— Ну, а я в составе ударной группировки «красных».

— Блестящая возможность выяснить наши отношения! Ведь пока у нас боевая ничья: один — один.

На инструктаже определяется, что их курсы действительно снова пересеклись.

— Берегись, Сандро! — говорит Вялков на прощание. — На этот раз тебе не удастся провести стреляного воробья на мякине! — Он заливисто хохочет, обнажая золотые зубы.

— Спасибо за предупреждение, — в тон ему отвечает Костров. — Обязательно поберегусь.

Совершенно неожиданно старшим группы подводных лодок назначают Кострова.

— Выходит, не зря ты старался, — ехидно замечает Камеев, — нам, старым командирам, ножку подставлял...

Костров пропускает его колкость мимо ушей.

Возглавлять непросто. «Тридцатке» приходится нести все вахты, на которых занято много матросов и старшин. Достается не только командиру, но и всему экипажу.

Радует Кострова новоиспеченный старпом капитан-лейтенант Болотников. В его рыхловатом теле таилась до поры неуемная энергия. Расторопностью бывший комендор ничуть не уступает Левченко. Даже с лица сдал, дряблым мешочком повис его второй подбородок. А если выдастся у Болотникова свободная от старпомовских дел минута, он спешит в приборный отсек. Не то по привычке тянет его туда, не то потому, что малоопытен еще новый командир БЧ-2.

Камеев идет вторым номером. От него поступают скудные донесения. Прочитывая их, Костров испытывает неловкость. Действительно, в опыте он значительно уступает своим ведомым.

— Слышу гидролокатор, пеленг сто тридцать, режим работы — круговой поиск! — вторгается в его мысли вахтенный акустик.

Не мешкая, Костров объявляет боевую тревогу. И первым в центральный пост протискивается Болотников.

— Старпом! Маневренный планшет, таблицы! — коротко бросает ему Костров. — Штурман, начали уклонение, — предупреждает он Кириллова. — Первый отворот вправо!

Готовя сигнал ведомым, Костров понимает, что сегодня ему нельзя ошибаться. Слишком большой резонанс вызовет его конфуз. Он не знает, как среагируют остальные, но Камеев будет злорадствовать.

Возле самого уха Кострова жужжит и пощелкивает контрольный пульт электронной схемы. В узкой прорези шкал сменяют друг друга черные колонки цифр. Автоматика зорко следит за невидимым «противником». Во всем этом хитросплетении умных механизмов чувствуется направляющая человеческая рука.

За одним из пультов приборного отсека сидит сейчас Генька Лапин, ныне уже штатный электроприборист, полноправный член экипажа лодки. Когда Болотников принес проект приказа о его допуске к самостоятельному обслуживанию механизмов, Костров как бы невзначай спросил:

— А не подведет он нас больше, Зиновий Николаевич?

— Нет, товарищ командир, — твердо заявил капитан-лейтенант. — Ручаюсь за него, как за самого себя...

Сейчас не время для размышлений. Обстановка усложняется с каждым мгновением.

— Штурман, курс отхода! — запрашивает Костров.

Ответ не заставляет себя ждать. Кириллов, как всегда, на высоте.

— Эхопеленг слабый! Эхопеленг потерян! — частит акустическая рубка.

Пока все козыри в руках у Кострова, и молчаливое море тоже в союзе с ним. Лодки первыми обнаружили корабли, получив тем самым инициативу и свободу маневра. А это в современном бою обстоятельство немаловажное.

Только что затевает ведомый? Непонятно, почему изменил курс и снова лезет в опасную зону. Придется вмешаться.

— Старпом, дайте сигнал второму: ваши действия ошибочны.

— Есть, дать сигнал второму!

Костров понимает, что самолюбие Камеева будет задето, но старший группы все-таки он.

Медленно тянется время. Горизонт по-прежнему чист, значит, охранение прорвано. И в этом уже половина успеха. Теперь нужно скрытно подвсплыть, чтобы получить целеуказание.

Задрав нос, «тридцатка» медленно прошивает наискось зеленую толщу воды.

— Глубина заданная! — докладывает боцман Тятько. И следом за ним торопится вахтенный радист:

— Радиограмма принята!

— Срочное погружение!

Ракетная атака началась. Где-то далеко, за сотни миль отсюда, идет конвой «синих», и напрасно обшаривают море цепкие лучи радаров. «Тридцатку» они не могут обнаружить, а на шкалах ее самописцев уже протянулась навстречу «противнику» красная паутинка боевого курса.

Одна за другой бегут минуты. Кажется, они бегут слишком быстро, обгоняя одна другую. На командном приборе перед Костровым вспыхивают разноцветные транспаранты. Их загорается все больше и больше. Передняя панель становится похожей па большой калейдоскоп.

Момент — и все шкалы гаснут. Остается один транс-

парант: «Залп набран». Костров поворачивает ключ старта и нажимает до отказа пусковую кнопку.

Вздрагивает корабль, вздыбливается, словно конь, остановленный на полном скаку. С ревом выходит ракета. Сейчас она вырвется из воды, огненной молнией взмоет в небо и неотвратимо устремится к цели. Если расчеты верны, то конвою несдобровать. А уцелевшие корабли добьют торпедами остальные лодки. Теперь наступает их черед.

«Тридцатка» снова маневрирует, зигзагами уходя от места старта. Потом еще раз подвсплывает. В динамике корабельной трансляции слышен писк и скрип радиопомех. Костров прислушивается к ним затаив дыхание. Нервно вздрагивает перед его глазами стрелка-волосинка секундомера. И вот откуда-то издалека, будто из другого мира, доносится хрипловатый выкрик:

— Вижу прямое попадание! Мишени поражены!

Из записок Кострова

В Кострах я пробыл еще неделю. Этого мне хватило на то, чтобы привести в порядок мамину могилу и распорядиться оставшимся добром.

Себе я взял только отцовскую «тулку» да альбом с пожелтевшими семейными фотографиями. Мамину же одежду собрал в ворох и сжег в русской печи. В аккуратно залатанных платьях и в стираных передниках жила частица маминой души, и я не мог представить ее вещи засаленными и заляпанными на чьем-то чужом теле. Тетка Лукерья, забежав ко мне, долго смотрела недоумевающим взглядом на пустой распахнутый сундук, пока запах паленых тряпок не подсказал ей догадку. Она не обмолвилась словом, только обиженно поджала губы.

Потом я отправился в правление колхоза просить грузовик.

— На кой ляд тебе тягач понадобился? — удивился председатель. — Неужто избу собрался по бревну раскатить?

— Нужна мне машина, Иван Гордеич, — настаивал я.

— Ну, коли надо, иди в гараж. Я позвоню, чтобы заводили ЗИС.

На колхозной трехтонке я подкатил к замшелой избенке бабушки Перфильевны.

— Вяжите свои узлы, бабуся! — скомандовал я опешившей старухе. — Ловите кота, и поехали.

— Кудай-то мне ехать? — заупрямилась Перфильевна. — Я, чай, дома не скучаю.

— Хватит вам в этакой хоромине жить, — указал я на выгорбившиеся половицы и прогнившие венцы крохотной горенки. — Ненароком рухнет она от старости и вас под собой погребет. Я вам свой дом дарю, Перфильевна!

— За щедрость твою низкий поклон тебе, Санюшка, — умильно пропела старуха. — Только изба мне твоя без надобности. Сколько еще веку моего осталось? В энтой лачужке на свет народилась, в ней и глазоньки свои закрою.

— Сносить вашу избенку будут все одно! — убеждал я Перфильевну. — Место для лесопильни освобождать.

— Об энтом у меня душа не болит. Мне-то всего шесть плах надобно для домовины, — ворчала упрямая бабка.

— Неужто вам в своей развалюхе охота мерзнуть? А в нашем доме двойные рамы, завалина торфяная, печь заново перекладена.

Все-таки уговорил старую. Вдвоем с шофером мигом перенесли ее немудрящий скарб в кузов машины. На прощание Перфильевна перекрестила все четыре угла своей хатенки и взяла несколько угольков из очага.

— Крыльцо-тось какое высокущее. Мне и не взойтить на него, — уже в нашем дворе продолжала она ворчать. Зато очи молодо зыркали по сторонам. Видать, хитрила бабка. Не выказывала свою радость, чтобы не благодарить лишний раз.

В сельсовете мне быстро оформили дарственную бумагу.

— Зазря ты компенсацию не берешь, Владимирыч, — сказал председатель колхоза. — Мы ноне не бедные. Полмиллиона на капитальное строительство припасли. Давно на Перфильевнин участок заримся, да все отселить ее не могли. Занозистый характер у старухи. На постой идти отказалась. «С чего энто мне, — говорит, — с чужих рук кусок выглядывать? Обед я сама еще могу сварить, а за сыновей погибших пенсион получаю». Собирались мы вскорости новую избу ей поставить.

— Прощайте, Иван Гордеевич, — сказал я.— Не поминайте лихом, коли не частым гостем буду теперь в родных краях.

— Счастливого пути, Владимирыч. И за бескорыстие твое спасибо. По всем статьям характера пошел ты в друга моего Володьку Кострова... Насчет могилы материнной не беспокойся, в лучшем виде блюсти ее будем. — Председатель поправил мне сбившийся в сторону галстук, потом, пытливо глянув, добавил: — Разговор наш давнишний не забывай. В жизни всякое может случиться. Только знай, что здесь тебе и работа, и крыша над головой завсегда найдется.

— От своего роду-племени, Иван Гордеевич, я никогда не откажусь, куда бы не занесла судьба...

— Вот и добре, сынок!

Весь последний вечер не находил я себе места. Натянув латаные валенки, вышел на улицу. В нос мне шибанул привычный с детства угарный печной дух. Небо уже вызвездило, а над синей каемкой леса карабкалась наверх щекастая молодица-луна. Слюдяными блестками искрился снег в огородах, разделенных на квадраты темными строчками прясел.

В глубине двора стоял приземистый бревенчатый амбар, нахлобучив до косяка двери снеговую шапку. Под ней скрылись остатки голубятни, обитателей которой давным-давно пожрали бродячие деревенские кошки.

Когда-то, мальцом, я с гиканьем носился, размахивая шестом, по крыше, а Оля топталась внизу, повизгивая от желания взобраться ко мне и опасаясь гнева своей матери. Нет уже и лаза, через который она тайком пробиралась в наш двор. Новый хозяин заменил прогнивший лапинский плетень тесовым заплотом.

Я вышел за калитку, и ноги сами понесли меня к школе. Классы ее были темны, и только в каморке сторожихи, бывшем жилище Родиона Семеновича Суровцева, горел свет. Сердце мое укоризненно заныло. Сколько раз за эти дни побывал я на сельском погосте и не положил даже зеленой веточки к надгробию своего первого учителя. Хотя вряд ли я самостоятельно сумел бы отыскать его могилу. Молодость эгоистична уже тем, что она устремлена не в прошлое, а в будущее.

Потом я заглянул в окно добротного здания, выстроенного на месте бывшего машинного сарая. Через высокую жестяную трубу попыхивал локомобиль, а возле распределительного щита сидел парень в чистой спецовке и почитывал себе книгу.

Невольно вспомнились мои дежурства, когда без конца крутился я с масленкой в руках около стучащих подшипников, пачкая мазутом и ржавчиной многострадальную рубаху. Однако же и я урывал минутку, чтобы почитать или покумекать над стихами. Я до сих пор помнил написанные здесь строчки:

Меня давно манили волны,
Хоть я вдали от моря рос,
Их рокот в шелесте берез
Я чувствовал душою полной.
И над просторами полей
Бескрайней матушки-Сибири,
Как над морской безбрежной ширью,
Я видел мачты кораблей...

Я прошел мимо клуба, откуда доносились звуки духового оркестра. Играл он нестройно, видать трудились доморощенные музыканты, но и это было прогрессом по сравнению с гармошкой и радиолой.

Уже далеко за полночь вернулся я домой. Перфильевна, облюбовавшая себе место на печи, беспокойно заерзала и подала голос:

— Ждала я тебя, внучек, снедать, да не дождалася. Приморилась. Горшок со щами в загнете, яишня на шестке.

— Спасибо, бабуся, не голоден я.

— Чегой ты энтакой смурый? — подозрительно спросила она. — Одумался небось, что задаром добро профукал?

— Ну что вы, бабушка! — успокоил я ее. — Добро-то дело наживное. Мне своей молодости жаль...

— Ишь ты старик какой нашелся! — изумилась Перфильевна. — Еще желтый пух не вылинял, а уже жальба в тебе завелась. Я, эвон, девятый десяток распочала, да и то смерти не прошу. На кой мне она! Болячки, слава богу, не мучают, людям я не в тягость, а глазоньки свету белому радоваться никогда не устанут...

На зорьке я уехал. Автобус катил по расчищенной грейдером дороге, как по асфальту. Я продышал пятачок в заиндевевшем стекле. Смотрел на бегущие вспfive засненные...

«Так вот почему Болотников дневал и ночевал в приборном отсеке. Он продолжал быть техническим руководителем рационализаторской группы операторов. И они придумали-таки оригинальное защитное приспособление! Флагманский специалист считает, что тут пахнет настоящим изобретением. А в заявке, оформленной в комиссии РИЗ, фамилия Геньки стоит второй. Может, это просто по алфавиту, но мне почему-то бросилось в глаза...»

Новой лодке организуют торжественную встречу. Соединение выстроено на причале. Играет базовый оркестр.

Чуть поодаль, возле начальника штаба, собралась группа старших офицеров. Адмирала нет, он на своем катере вышел за внешний рейд, чтобы встретить Левченко прямо в море.

И вот очередная тактическая единица флота появляется из-за мыса. Сверкает под лучами солнца светло-серая заводская окраска, ветер полощет на флагштоке новехонький крепдешиновый флаг.

Костров с любопытством глядит на младшую сестру своей «тридцатки». Внешне они почти близнецы, но он понимает, что эту начинили внутри более совершенной аппаратурой. Два года для конструкторов достаточный срок, чтобы напридумывать всякой всячины.

«Тридцать первая» если не лихо, то вполне культурно швартуется к причалу. «Молодец, Юра!» — одобрительно думает Костров. У него самого на первых порах получалось не так чисто.

Следом за адмиралом сходит на берег Левченко. И еще один сюрприз: на плечах у него погоны капитана второго ранга. Видимо, он совсем недавно получил новое звание. Он терпеливо выслушивает двойные поздравления, пожимает множество рук.

— И необмытого тебя под лай собачий похоронят! — шутит Костров, тормоша своего бывшего старпома.

— За этим дело не станет! — в тон ему откликается Юрий.

Потом адмирал Мирский собирает накоротке небольшое совещание. Назначает экипажу «тридцать первой» сроки отработки задач, затем, сухо кашлянув, объявляет:

— Обеспечивающим командиром у вас будет капитан третьего ранга Костров.

Его реплика вызывает оживление. Не часто обеспечивающим назначают младшего в звании, самого недавно имевшего «няньку». На губах Камеева играет язвительная улыбочка.

Когда утихает сумятица и Костров с Левченко остаются одни на лодке, Костров предлагает:

— Давай условимся, Юрий Сергеевич: в твою корабельную организацию я не буду лезть. Круг моих советов, — он специально делает ударение на последних словах, — круг моих советов ограничивается лишь центральным постом.

Левченко в ответ удивленно вскидывает голову.

— Что это так официально, Александр Владимирович? — спрашивает он.— Думаешь, меня заедает твое прикрепление? Ничуть! Я доволен, что мы опять вместе.

Он впервые называет Кострова на «ты», и это обращение стирает остатки былой неловкости их отношений.

— Спасибо, Юра, — негромко говорит Костров.— А теперь расскажи мне, что нового понаставили у тебя в отсеках...

Через несколько дней новая лодка отправляется в свое первое плавание. Вместе с командой на ней идут три представителя завода, наладчики схемы управления стрельбой. С виду инженеры совсем юнцы. Одного из них не выручает даже бородка «под Курчатова», отпущенная, очевидно, для солидности.

— Кто же из вас дорабатывал схему? — спрашивает его Костров.

— Все помаленьку, — улыбается паренек,— наше конструкторское бюро и вы, эксплуатационники. Кстати, вы утерли нам нос своим защитным приспособлением! Когда в КБ получили чертежи, то целую неделю разводили руками: «Как же это мы сами не додумались!»

Море встречает «тридцать первую» необычным для февраля затишьем. Лишь изредка оно, как ленивая кошка, выгорбливается пологой зыбью.

Инженеры ходят с кислыми минами.

— Нельзя ли где-нибудь найти плохую погоду, товарищ командир? — обращается к Левченко старший, тот самый паренек с бородкой. — Схему надо бы покачать как следует, проверить на живучесть.

— Потерпите чуток, товарищ Голубев, — смеясь, успокаивает его Костров. — Еще так накувыркаетесь, что тошно станет!

Он словно в воду глядел. Уже к вечеру задувает норд-ост, в несколько часов до белых барханов распахивает море. Лодка мотается по волнам, припадая на все четыре стороны, как расковавшаяся лошадь. Начинается толчея — самый неприятный вид волнения.

Чтобы дать экипажу возможность поужинать, Левченко заполняет носовую группу цистерн и разворачивается по волне. После этого миски уже не летят со столов.

А инженерам теперь не до еды. Двое из них лежат пластом, в кают-компанию приходит один Голубев. Зачерпнув ложку борща, он не доносит ее до рта, а, судорожно вздохнув, торопится прочь из отсека.

— Ну как схема? — спрашивает его Костров.

Конструктор только мотает головой, глянув на всех остекленевшими глазами.

Из записок Кострова

Приморье встретило меня звонкой весенней капелью. Хрупающий под ногами утренний ноздреватый ледок к полудню превратился в грязные лужи. Первый же шторм взломал и унес прочь в океан источенный влагой береговой припай.

Сызмальства я любил весну. Мог бродить часами по межам через сбросившую вьюжное покрывало озимь, любуясь нежной ее зеленью. Меня поражало и радовало буйное обновление земли, с бескрайними паводками и звонкой разноголосицей ручьев. Я убегал в лес, рвал целыми охапками душистые и сладковатые на вкус медунки, лепил из уцелевшего в оврагах снега катухи и швырял ими в пугливых, тощих после зимнего поста русаков.

А нынешнюю весну я наблюдал равнодушными глазами, вдыхал настоянный на прели и талом снеге воздух, и ни разу не защемило у меня в груди.

Я сторонился знакомых, мне отвечали тем же. Только Вадим Мошковцев по-прежнему навещал меня и снисходительно терпел мою раздражительность.

— Зря ты так переживаешь, старик, — говорил он. — У каждого из нас предки умирают. Таков закон природы. Тебе надо чаще менять обстановку, тогда быстрее пройдет

твоя хандра. По праву старшего я беру над тобой шефство!

И он снова затащил меня в поселок рыбокомбината. На этот раз мы пришли не к общежитию засольщиц, а к стандартному финскому домику, одному из тех, в которых жили семейные рыбаки.

За низенькой штакетной оградкой громыхал цепью большущий лохматый пес. На его лай из двери выглянула женщина. Увидев нас, заторопилась к калитке.

— Заходите, пожалуйста, — сказала она, смущенно одергивая юбку.

— Мой друг, — представил меня Мошковцев.— Романтик моря и каютный затворник.

Ладную его фигуру облегало модное плащ-пальто, а я все еще носил опостылевшую за долгую зиму шинель. Мне показалось, что женщина окинула меня критическим взглядом.

— Катерина, — назвалась она. И, спохватившись, поправилась: — Екатерина Николаевна.

Я с опаской прошел мимо клыкастого кобеля, но он только добродушно мел землю кончиком хвоста.

В доме Вадим повел себя по-хозяйски. Плащ-пальто повесил на плечики, сунул ноги в домашние тапочки. А хозяйка куда-то заторопилась.

— Постой, Катюша, — задержал ее Вадим. И, обняв, пошептал ей на ухо. Женщина согласно кивнула головой.

— Куда ты ее послал? — спросил я.

— На стол сообразит. И прихватит по пути одну девулю. Все о тебе пекусь! — игриво пхнул меня Вадим.

— Ты ей свои деньги дал? Сколько с меня? — полез в карман я.

— Убери свой лопатник, — приказал Вадим. — Здесь с гостей денег не берут.

— Кто она тебе? — поинтересовался я.— Ей, наверное, уже за тридцать?

— Какое это имеет значение? — хмыкнул он. — Мне ж с ней детей не крестить. А баба она стоящая и безо всяких претензий.

Я промолчал, а Вадим занялся радиоприемником. Долго крутил ручки настройки, пока не набрел в эфире на чей-то разухабистый джаз.

— Штаты веселятся, — сказал он, усиливая громкость. — Новый Свет у нас поймать легче, чем Москву.

Комнату заполнили звон литавр и визгливые выкрики саксофонов.

— Люблю синкопическую музыку, — удовлетворенно изрек Вадим. — От нее кровь веселее по жилам течет.

За окном коротко взбрехнула собака, из сеней донеслась дробь каблуков. Хозяйка вернулась не одна. Пока она опрастывала на кухне авоську, ее спутница сняла пальто и бесцеремонно вошла в комнату.

— Привет мореплавателям! — сказала она, тряхнув пышными волосами.

Это была моя соседка по столу в рыбокомбинатовском общежитии. В платье из набивного шелка она выглядела еще более броской, чем прошлый раз.

— Мы, кажется, знакомы, Александр? — спросила девушка, довольная произведенным эффектом.

— Кажется, да, Светлана, — в тон ей ответил я.

Хозяйка сменила узорчатую скатерть на обеденную. Принесла пузатый графинчик спирта, накромсанный ломтями кетовый балык и тарелку красной икры — рядовое здешнее угощение.

Чтобы побороть неловкость, я набрался храбрости и залпом выпил полстакана чистого спирта.

— Ого! — воскликнула Светлана. — Вы делаете успехи, молодой человек... Я слышала, у вас были неприятности? — придвинувшись поближе, негромко спросила она.

От ее участливого тона у меня стало хорошо на душе. Приятная истома разлилась по телу, хотелось беспричинно смеяться, забыв обо всем на свете.

Вадим опять колдовал возле приемника, ища что-либо стоящее, и облюбовал какой-то чечеточный ритм.

— Пошли танцевать, Александр, — потянула меня за рукав Светлана. Она уже была хмельна. Волосы то и дело свешивались ей на лицо. Тяжело дыша, она выделывала замысловатые коленца. Я чувствовал, как под рифленой тканью платья вздрагивает ее разгоряченная грудь.

— Где ты взял такие голубые глаза? — хрипловато шептала девушка. — Они тебе не идут. Такому большому и сильному мужчине нужны коричневые, холодные и властные...

За столом хозяйка что-то рассказывала Вадиму.

— К черту замужество, Катюха! — встряла в их раз-

говор моя партнерша. — Пусть другие стирают мужнины портки и ждут, пригорюнясь, возле окошка. А я не хочу! Во мне течет цыганская кровь...

Старый муж, грозный муж,
Режь меня, жги меня,
Я другого люблю,
Умираю, любя! —

пропела она, обнимая хозяйку за плечи.

Вадим кивком головы позвал меня выйти на улицу.

— Хороша, стерва? — заговорщицки подмигнул он мне. — Не знаю, чем ты ее приворожил, но она сама перед тобой стелется. А ведь она — местная львица, с кем попало не пойдет. Катюха мне говорила, сам директор рыбокомбината к ней клинья бил. У него жена на материке квартиру сторожит, так он здесь подчиненными пробавляется. А Светка этому хлыщу от ворот поворот дала...

ГЛАВА 21

«Впервые я оказался в море на положении почетного пассажира. Левченко отлично чувствует корабль, и вмешиваться в его действия нет надобности. Я уже подумываю о том, что вскоре, когда мы с Юрием станем соперниками в призовых стрельбах, мне придется туго...»

Шторм не унимается целую неделю. Уже отмаялись и поднялись с коек инженеры. Старинный лекарь — голод заставил их пересилить морскую болезнь. А от обеденного стола рукой подать до приборного отсека.

Стесняясь своей слабости, инженеры утыкают носы в ленты самописцев. И облегченно вздыхают — лодочные операторы не оплошали.

Днем позже конструкторы, уже как заправские мореманы, ходят по шаткой палубе и умудряются даже раскатывать на ней рулоны с чертежами. Они готовятся к самой ответственной части испытаний: плаванию на довольно большой глубине. Забортные датчики должны выдержать давление в несколько десятков атмосфер. Штамповочный молот таким усилием расплющивает чугунные болванки.

Конструктор Голубев долго уточняет с обоими командирами мельчайшие подробности опыта.

— Мы просим погружаться ступеньками по пять — десять метров, не более. На каждой промежуточной глубине задерживаться до нашей команды.

— Хорошо, — соглашается Левченко. — Только учтите, что метр-два мы всегда можем проскочить из-за разности плотности воды.

— Это не беда, — говорит Голубев. — Такие допуски приемлемы.

— У вас все готово? — спрашивает его Костров.

— Так точно, — щеголяет уставным словечком инженер.

— Ты все проверил, Юра? — тихонько обращается Костров к Левченко. Для молодого экипажа глубоководное погружение — серьезное испытание.

— Как будто бы все, — отвечает Левченко.

— Тогда командуй.

— По местам стоять, к погружению!

В отсеках с энтузиазмом принимают эту команду. Всем осточертело многодневное шараханье о переборки.

Ухает балласт в забортные цистерны, и вода смыкается над рубкой «тридцать первой». Метров до пятнадцати качка еще ощущается, но это уже не разбойная пляска на волнах. Лодка степенно, как утица, переваливается с боку на бок.

Тридцать метров глубины. Затвердела палуба, теперь можно по одной половице пройтись. Зато настороженно замолчало море, словно задумало что-то недоброе. Не всплеснет, не шелохнется за стальными бортами.

— Можно продолжать погружение! — подают голос инженеры.

— Порядок! Можно продолжать.

— Готово! Можно...

— Можно...

И вдруг:

— Стоп погружение! В приборный отсек поступает забортная вода!

— Приготовить колонки аварийного продувания! — командует Левченко.

— Спокойнее, Юра, — говорит ему Костров. — Я туда.

Множество раз приходилось Кострову заделывать условные пробоины. И как бы ни мобилизовывал он свою волю, всегда в глубине сознания оставалась мысль о том, что все это не всерьез, что нужно лишь скинуть минуту-

другую с установленного норматива. Совсем по-иному работает его мозг сейчас, когда он видит завесу водяной пыли в приборном отсеке. Струи веером бьют с подволока. Такое впечатление, что пробоина где-то в верхней части корпуса. Но опытному глазу понятно: вода под большим давлением поступает из трюма и, отражаясь от подволока, создает иллюзию водопада.

— Центральный!— вызывает по трансляции Костров.— Вырвало какой-то сальник в трюме. Дробь аварийное продувание. Повреждение устраним своими силами. Испытания будем продолжать.

С шипением поступает воздух из магистрали в отсек. И водяная струя съеживается прямо на глазах. Вскоре она белым калачиком льется из вырванного сальника, совсем как из питьевого фонтанчика, что устанавливают на городских бульварах. Заглушить небольшое отверстие не стоит особого труда.

Покалывает в ушах от избыточного давления в отсеке, которое теперь постепенно стравливается за борт. «Нет худа без добра, — думает Костров, глядя на взволнованные лица инженеров и лодочных операторов. — Теперь они представляют, что такое пробоина, пусть даже пустяковая, на большой глубине. И, отрабатывая элементы борьбы за живучесть, не будут думать только лишь о сокращении нормативов».

Из записок Кострова

С некоторых пор Котс стал более расположен ко мне. В кабинете торпедных атак он нередко ставил меня на место командира боевой части. Немалая честь для салаги-первогодка! На мостике он уже реже вмешивался в мои действия. Похоже было, что испытательный срок я выдержал успешно.

Как-то командир рискнул даже послать меня старшим на катер-торпедолов, доверил дело, которое требует не только опыта, но и смекалки.

— Прогноз неважный, Костров, — сказал он напоследок. — Будьте внимательны и осторожны. Потеряете торпеду — придется расхлебывать всему экипажу. Понятно?

— Так точно, товарищ командир!

Так впервые в жизни мне доверили настоящий корабль. Пусть он мог со всеми потрохами уместиться на

пушечном барбете нашего «Ленинца», однако на гафеле его полоскался Военно-морской флаг.

За рулем торпедолова стоял пожилой мичман, годившийся мне в отцы, и я рос в собственных глазах, когда он просил моего разрешения на перемену курса.

— Разрешите повернуть вправо, товарищ лейтенант?— спрашивал он.

— Поворачивайте, товарищ мичман, — важно отвечал я.

Похоже, что старый моряк намеренно тешил мое самолюбие, я же воспринимал все па полном серьезе.

Только когда мы пристроились в хвосте конвоя «синих» и делать мне стало нечего, я спустился в крохотный кубрик катера.

Разомлев в тепле, я подремывал и думал о Светлане. Странные были у нас с нею отношения. Она то радостно бросалась ко мне на шею, то встречала холодно, как совсем чужого. В компаниях опа по-прежнему много пила, а после закатывала истерики, перемежая смех слезами.

Я понимал, что у пее, как и у меня, была в жизни какая-то трагедия, может, пережитое и влекло нас друг к другу. Хотя она мне ничего не рассказала и я не обмолвился про Ольгу.

И все-таки меня волновала ее броская и дерзкая красота. В те поры, когда бывала она ласковой и душевной, я ее почти любил. Однажды я предложил ей выйти за меня замуж. Светлана глянула на меня широко раскрытыми зеленоватыми глазами, ласково растрепала мой чуб.

— Тебе сколько лет, любовь моя? — спросила она.

— Двадцать три. А какое это имеет значение?

— Ты совсем еще дитя. Глупое, несмышленое дитя... Не сердись, — добавила она, заметив, что я обиженно засопел.— Тебе хорошо со мной? Ну и радуйся. А женой я буду плохой, эта роль не для меня...

Катер начало мотать на волне. Я сообразил, что конвой пошел противолодочным зигзагом, и выбрался на мостик. Фонтаны брызг обдали меня с ног до головы. Торпедолов черпал палубой воду на каждом повороте, оставаясь один на один с флегматичной океанской зыбью. Но потом прибавлял скорости и укрывался за широкой кормой ближнего транспорта.

Конвой растянулся до самого горизонта. Корабли шли, неторопливо попыхивая трубами, оставляя за собой пря-

мые пенные борозды. Казалось, они расчерчивали в линейку огромный зеленовато-серый тетрадный лист. Картина была настолько впечатляющей, что перед нею отступили на задний план все мои личные невзгоды.

Что нам штормы, ураганы,
Нам не страшен океан,
Молодые капитаны
Поведут наш караван! —

заорал я, пересиливая ветер.

Мичман покосился в мою сторону и понимающе улыбнулся.

Над головным кораблем взметнулась хвостатая белая ракета. Торпедоловам приказывалось занять исходные позиции. Мой катерок юрко вывернулся из общего строя и побежал на запад, выписывая мачтой замысловатые кренделя.

Снова возле самых туч пригоршней оранжевых звезд рассыпалась ракета. Она означала: внимание! Почти вися на поручнях, я ухитрился поднести к глазам бинокль. И разглядел, как из-под киля одного из транспортов вынырнула пузырчатая дорожка. Это прошла под ним учебная торпеда. Будь она боевой, чудовищный взрыв развалил бы транспорт пополам.

Я испустил новый ликующий вопль, ибо не сомневался, что вижу торпеду с нашего «Ленинца». Слишком уж дерзкий почерк атаки походил на котсовский.

Торпедолов на полных оборотах двигателя помчался вдогонку за пенным следом. И сразу же безнадежно отстал. Скорость стальной иглы, прошивающей глубину, была гораздо большей. Исчезая вдали, след из белого становился зеленым, и языкатые гребни волн слизывали его с поверхности океана.

Я сердито косился на указатель машинного телеграфа, который давно уже стоял на отметке «самый полный». Мне казалось, что катерок еле-еле тащится.

Потом впереди по курсу вдруг выплеснулся небольшой китовый фонтанчик. Торпеда, пройдя дистанцию, продувала водяной балласт. Катер описал полукруг, приближаясь к ней с наветренной стороны. Я приготовился спрыгнуть на палубу, но мичман придержал меня за рукав штормовки:

— Разрешите, мы сами, товарищ лейтенант?

Его подчиненные быстро совладали со строптивой торпедой, красно-белая головка которой то выныривала из воды, то снова погружалась по самую макушку. Один из матросов ловко набросил петлю-удавку, другой отпорным крюком подтянул торпеду к борту. Скрученная стальными бугелями, она успокоилась на кормовом стеллаже торпедолова.

— Разрешите следовать в базу? — обратился ко мне мичман, испытывая, верно, неловкость за давешний инцидент. Он был старый служака, этот старшина катера.

Я снова попался на его удочку и важно кивнул головой, довольный, что вся полнота корабельной власти опять перешла ко мне.

ГЛАВА 22

«Юрию «нянька» не нужна. Как командир он способен грамотно решить любую задачу. Зачем же превращать его обеспечение в пустую формальность, которая только задевает самолюбие? Вернемся в базу, я так и поставлю этот вопрос перед адмиралом...»

Первым, кто встретил Кострова на причале, был замполит Столяров.

— На корабле все в порядке, товарищ командир, — доложил он. — Планово-предупредительный ремонт закончили, теперь ждем вас. Застоялись возле стенки!

— Вам не угодить, Николай Артемьевич, — улыбается Костров. — В море вздыхаете по берегу, а на берегу рветесь в море.

— Единство и борьба противоположностей! — не остается в долгу замполит. — Философский закон развития общества.

— Новости есть, замполит?

— Так точно! И превосходные, товарищ командир!

— Какие?

— Приказ комфлота, поощрение за рационализаторскую работу. Болотникову, Лапину и Кедрину — премия, нам с вами по благодарности!

— Нам-то за что?

— Сам удивляюсь, товарищ командир. Наверно, положено по должности, — теребит усики Столяров.— И еще

одна новость, персонально для вас, — хитровато прищуривается он. — Разнарядка в академию на двух человек. Кадровики по секрету сказали: вы первый кандидат.

Горячая волна подкатывает к сердцу. Чего таить, академия — давнишняя мечта Кострова. Правда, он побаивается вступительных экзаменов. Математика и английский основательно забыты. Но можно взяться за учебники, кое-что вспомнить и заново подзубрить... А как же «тридцатка»? И перед его мысленным взором проходят Болотников, Кириллов, боцман Тятько, Генька Лапин. Меньше года командует он ими. Только-только наладилось взаимопонимание, стало кое-что получаться. Придет новый командир — и опять им начинать с азов... Но и без академии ему нельзя. Хотя стоп! Есть же заочное отделение. «Учиться заочно», — твердо решает Костров.

Возбужденно-радостный, он является в штаб.

— Чего это у тебя рот до ушей? — спрашивает попавшийся ему навстречу командир Антонов. — Смотри, как бы тебе веселье боком не вышло. Лютует старик! — показывает он глазами на кабинет адмирала.

— А что случилось?

— Неужели не знаешь? Призовую торпедную стрельбу завалили. Твой приятель Вялков помог. Сначала шел рекомендованным зигзагом, а потом вдруг повернул бог знает куда. И Славка Камеев весь залп пустил ему за корму. Жалко мужика, достанется ему теперь на орехи.

«Когда-то это должно было случиться, — с сожалением думает Костров. — Время папаши Шаблона давно прошло. И плохо будет тем, кто до сих пор этого не понял...»

Предупрежденный Антоновым, он с опаской толкает дверь адмиральского кабинета.

— Разрешите войти?

— Входите, входите, Костров! — откликается Мирский, и в голосе его слышатся добродушные нотки.

В кабинете есть уже посетитель. Он сидит спиной к двери, Кострову виден только коротко стриженный седой затылок да часть шеврона на рукаве торгсовфлотской тужурки.

— А ну, покажись-ка, сынок! — басит гость, подымаясь со стула и поворачиваясь.

— Юлий Оскарович! — забыв, где находится, восторженно орет Костров, бросаясь навстречу старому капитану. Целует его в морщинистые, обветренные щеки. И толь-

ко разжав объятия, видит на его груди Золотую медаль «Серп и Молот».

— А ты что думал: цветочки-ягодки разводит пенсионер Котс! — заметив его взгляд, довольно хмыкает тот.

«Вот уж действительно права пословица, что только гора с горой не сходится...» — мысленно радуется Костров, усаживаясь рядом с Котсом. Но все оказывается очень просто: Котс старый знакомый адмирала Мирского. Пересекались их судьбы на военных фарватерах, а потом в одном соединении командовали лодками. Костров даже чуточку разочарован, — ему хотелось думать, что именно ради него приехал сюда бывший его командир.

— Тут неподалечку промывал я свои печенки-селезенки минеральной водицей,— рассказывает Котс, густо дымя сигаретой. — Какие-то камни нашли у меня эскулапы, хотели совсем на прикол поставить. А я им — шалишь! Не пришел еще мой черед! Теперь вот санаторная комиссия сказала, что снова все у меня в ажуре. И то верно, рановато нам, Иван Федорович, с морем расставаться, — обращается он к Мирскому.

— Рано не рано, а вот эти молодцы подпирают! — кивает адмирал на Кострова, — и мы становимся плотиной на их стремительном пути. Диалектика, Юлий Оскарович...

— Ну ничего, Иван Федорович, сдадите портфель здесь, приходите к нам, в «рыбкину контору». Подыщем вам работу, если не на море, так возле него. Дела мы теперь такие заворачиваем, что опытные кадры нам нужны позарез!

Чувствуется, что Котс не зря получил Героя. Он просто-таки влюблен в свою новую профессию. Да и должность его — капитан-наставник — звучит не менее солидно, чем контр-адмирал.

Беседа двух ветеранов подводного флота длится долго. Костров уже начинает чувствовать себя здесь третьим лишним.

— Заговорил я вас, Иван Федорович, — первым спохватывается Котс. — Совсем забыл, что вы-то не в отпуске. Ну что ж, очень рад был с вами повидаться, вспомнить молодость нашу тревожную... Не смею больше занимать ваше время. Последняя просьба: позвольте мне посмотреть одну из ваших подводных лодок. Хочется узнать, какими они стали.

— С удовольствием, Юлий Оскарович. Вот, пожалуйста, — к вашим услугам новый командир, известный вам капитан третьего ранга Костров.

— Значит, поменяемся ролями, крестник? — с улыбкой глядит Котс на Кострова. — Представь себе, что я — пришедший к тебе на корабль зеленый лейтенант.

— Постараюсь, товарищ командир, хотя сделать это мне будет нелегко! — в тон ему отвечает Костров. И чувствует,— Котсу очень понравилось, что к нему обратились так же, как много лет назад.

Они подходят к причалу, где вторым корпусом стоит «тридцатка». Вахтенный у трапа отдает им честь, и Котс тоже берет под козырек своей невоенной фуражки.

— Нагибаться вы не разучились? — спрашивает его Костров. — Лодки до сих пор еще не рассчитаны па ваши габариты!

— Ничего, синяки и шишки на мне по-прежнему долго не держатся, — отшучивается Котс.

Но в отсеках он становится серьезным и, слушая объяснения Кострова, только покачивает головой. Сложнейшее навигационное оборудование и электронно-вычислительные приборы производят на него огромное впечатление.

— Да, такое моему поколению командиров было бы не по плечу, — задумчиво произносит он.

— Не скромничайте, Юлий Оскарович, — говорит ему Костров. — Вам немного подучиться — и вы бы флотом командовать смогли!

— Разве что рыболовным, — принимает его комплимент Котс. — Для такой техники и ребята нужны смышленые, — замечает он немного погодя, с любопытством поглядывая па работающих возле пультов старшин и матросов.

— Они такие и есть, — не без гордости отвечает Костров. — Кое в чем даже инженерам нос утрут!

Через пару часов Костров провожает Котса на автобусную остановку. У того в кармане билет на поезд, и, к огорчению своего бывшего ученика, капитан-наставник не может задержаться даже на один вечер.

— Ну, а личные дела у тебя, Шура, каковы? Какую кралю ты осчастливил?

— Никто за меня не пошел, Юлий Оскарович, — усмехается Костров.

— Значит, бобылем живешь. Невеселое это дело, милый мой, по себе знаю...

— Да, веселого мало, — соглашается Костров.

Из записок Кострова

Пришла бумага, подытожившая долгую жизнь нашего корабля. Решением государственной комиссии он списывался на слом. Ему оставалось последнее плавание к ковшу разделочной мастерской, после чего он переименовывался в «разоружаемый объект».

В кают-компании не стало слышно смешков и шуток, совсем как в доме, где лежит умирающий. Зато началось паломничество с других лодок, и вовсе не за тем, чтобы выразить соболезнование. Многим хотелось разжиться у нас дефицитной запчастью.

Котс осунулся и совсем перестал улыбаться. Мы сочувствовали: ведь с кораблем у него были связаны лучшие годы жизни. Можно сказать, каждая палубная заклепка обласкана теплом его рук. А новой лодки ему наверняка не дадут, настало время дипломированных командиров. Видимо, предложат какую-нибудь должностишку на берегу.

Расхватывали не только запасные части, помаленьку расформировывали экипаж. Забрали старпома, следом за ним — командира минно-торпедной боевой части. На это место приказом назначили меня. Неожиданное повышение вовсе не радовало. Не велика честь стать калифом на час.

Скрепя сердце занимался я бумажной волокитой, составляя бесчисленное количество актов и протоколов. Ликвидация большого минно-торпедного хозяйства была нелегким делом.

Рассчитавшись с береговой базой, мы перевели крейсер к месту последней стоянки. Мы долго шли на буксире, и, возможно, у многих на берегу дрогнуло сердце при виде этой скорбной картины. Обшарпанный и накренившийся подводный крейсер понуро плелся за своим поводырем, словно хотел протянуть последние часы на плаву.

Неуютный, захламленный причал разделочной мастерской в обиходе называли корабельным кладбищем. На холодном равнодушном бетоне там и сям валялись останки судов. Жалко торчали в стороны скрученные ребра шпангоутов, а кабели и трубы походили на внутренности.

Когда мастеровые приняли у нас лодку, команду в последний раз выстроили на кормовой палубе. Котс самолично стал к флагу. Едва поползло вниз бело-голубое полотнище, старый корабль тоскливо закричал сиплым голосом электрической сирены.

У каждого из нас запершило в горле. А командир, опустившись на колено, поцеловал любовно начищенную, сверкающую медь флагштока.

Я знал, что корабли не умирают. Их названия присваиваются новым крейсерам, эсминцам и подводным лодкам. И все-таки было грустно расставаться со своим одряхлевшим, но гордым ветераном.

Уже сойдя на причал, Котс медленно прошелся вдоль корпуса лодки, словно хотел запечатлеть в памяти каждую вмятину, потом достал из брючного кармана штамп и, широко размахнувшись, швырнул его в бухту. Наша войсковая часть перестала существовать. Все члены экипажа уже имели новые назначения. Котс уходил начальником базового арсенала, а я назначен на равноценную должность: помощником командира средней лодки. Вот тут-то я оценил благородный по отношению ко мне шаг своего командира. Это был для меня прямо-таки космический взлет.

Мне предстояла дальняя дорога. «Эска» моя проходила модернизацию, но после должна была возвратиться в эти места.

— Везет же тебе, Сандро! — позавидовал Вадим Мошковцев. — Целый год будешь жить в стольном городе. Рестораны, шикарные девочки — блеск! Да и должностишку ты себе отхватил приличную.

— Не знаю только, удержусь ли на ней, — опасливо покачал я головой.

— Тю, санта симплицитас — святая простота! — хохотнул Вадим.— Командовать всегда легче, чем подчиняться.

Вадим помогал мне собирать чемоданы.

— Послушай, Сандро, — ухмыльнувшись, сказал он.— Передал бы ты мне Светку по доверенности. Год она тебя ждать не станет, а у меня давно на нее зуб горит. Пора сухопарой Катюхе отвод давать...

Резким движением я вырвал из его рук чемодан.

— Ну-ка, мотай отсюда! — скрипнув зубами, сказал я.

— Ты что, опупел? — попятился он.

— Катись, тебе говорят! — с усилием выдавил я, стискивая пальцы в кулак.

— Сопляк. Деревенщина неотесанная, — пробормотал он возле двери.

Перед отъездом я навестил Котса на новом месте. Он мрачно восседал за столом своего кабинета и сердито терзал большущими руками толстые тома формуляров.

— Здравствуй, Костров, — приветствовал он меня. — Заходи, полюбуйся, чем занимается твой командир. Эх, не думал, не гадал, что так бесславно закончится моя карьера. Смолоду дураком был — не учился, слишком крепко к мостику прилип... Рассказывай, зачем пришел.

— Проститься с вами, Юлий Оскарович. Еду к новому месту службы.

— Счастливого пути, лейтенант. Семь футов тебе под киль, — поднялся он из-за стола. — Если помнишь какие обиды, прости старика. Грубоват я бывал, верно, но ведь для пользы дела...

— Что вы, товарищ командир! — торопливо вмешался я. — Какие могут быть обиды!

— Не принято вроде в глаза говорить, — улыбнулся Котс, подходя ко мне ближе, — но, думаю, хороший из тебя получится моряк, Костров. Если, — хитровато прищурился он, — если учиться будешь и раньше времени спесью башку не забьешь!

Не знал я тогда, прощаясь с командиром, что не скоро приведется нам с ним встретиться. Не сумел пересилить себя старый моряк. Вскоре после моего отъезда капитан второго ранга Котс уволился в запас и подался на родину — в Эстонию. Позднее прочитал я в газете, что стал он капитан-директором рыболовного траулера.

И вообще немало событий произошло за год моего отсутствия. Перевелся на запад Вадим Мошковцев, а Светлана вышла замуж за молодого техника-рыбовода и, вопреки своему утверждению, стала хорошей женой.

А потом были еще четыре трудных номощничьих года, затем передышка — учеба на командирских классах в Ленинграде, а по окончании — еще более хлопотная должность старшего помощника командира.

Однажды, когда моя лодка только что ошвартовалась к причалу, меня усадили в кабину газика и отвезли в зеленый дом на набережной.

— Костров? — спросил меня один из кадровых «богов», невысокий плотный каперанг со значком «За дальний поход» на тужурке. — Бери стул, присаживайся. Хотя разговор будет недолгим. Выдвигаем тебя в командиры новейшей лодки. Согласен?

— Куда же? — помедлив, спросил я.

— Ну какая тебе разница?! — громко хохотнул кадровик. — Ты же холостяк, с женой советоваться тебе не надо!

— Мне вовсе не безразлично, на каком флоте служить.

— Боишься, что разлучим тебя с океаном?— понимающе прищурился капитан первого ранга. — Напрасно. Флот наш теперь весь океанский, где бы твоя лодка ни базировалась, плавать придется на всех широтах!

ГЛАВА 23

«И опять капризный ветер марта
Шелестит цветущим миндалем.
Тонкой паутинкою на картах
Остается след за кораблем.
А вокруг, полнеба закрывая,
Ходят тучи сизые гуртом,
Хлопья пены чайками взлетают,
Шапками вскипают под винтом.

Снова меня потянуло на стихи. Весна тому причиной или что-то другое?..»

В горы Костров и Алена добираются на попутной машине. В открытом кузове негде спастись от ветра, и они сидят возле кабины, тесно прижавшись друг к другу.

Шофер притормаживает возле флотской турбазы. По обе стороны массивных ворот застыли, словно часовые, гипсовые фигуры спортсменов на выкрошившихся постаментах. Голые, почерневшие от дождей деревья создают впечатление неуютности и запустения.

В конторе они видят знакомое лицо. Это бывший майор Сиротинский. Вязаная спортивная куртка свисает с его узких плеч. «Жив курилка!» — удивленно думает Костров. Он слышал, что начальник автобазы уволился в запас, но не знал, что тот устроился поблизости.

— Добро пожаловать! — приветливо улыбается Сиротинский. — В такое время нас навещают только энтузиасты, — адресует он свой комплимент Алене.

Начальник турбазы самолично подбирает им походное снаряжение, подгоняет ремни рюкзаков.

— Я обязан послать с вами инструктора, — заговорщицки понижает голос отставной майор. Но думаю, третий лишний вам не нужен. Верно?

Алена согласно кивает головой.

Экипированные по полной форме, они покидают турбазу. Алена идет за проводника, почти налегке. Всю тяжелую кладь Костров взял себе.

Тропа основательно подмыта зимними дождями, ботинки предательски скользят на каменистых осыпях. Склоны гор покрыты безлистыми зарослями дубняка, среди которых веселыми островками выделяются сосновые кущи. Непривычно тихо в лесу, лишь изредка завозится в кустах и сиротливо тенькнет одинокая пичуга.

Но весна уже раскидала там и сям первые свои приметы. Среди жухлой прошлогодней травы щетинится свежая зелень и покачивают крохотными бутончиками подснежники. Алена нарвала целый букет, в котором среди нежной белизны подснежников резко выделяются несколько сиреневых фиалок.

— Правда, красиво? — спрашивает она, прикладывая цветы к груди.

— Очень, — подтверждает Костров.

Совсем недавно они перешли на «ты».

У спутницы Кострова отличное настроение. Она то восторженно ойкает, когда из-под ноги выворачивается камень, то упрямо продирается через чащобу, чтобы нарвать горсть сморщенных прошлогодних ягод кизила.

— Ты знаешь, Олесь, — смеясь, рассказывает она, — какой я была в девчонках гордячкой. Нарочно со всеми красивыми парубками здоровалась, чтобы подружек завидки брали! А у самой ни одного знакомого не было...

Тропа, огибая скалы и буераки, ведет их все выше и выше. Редеет лес, уступая место бурым каменистым проплешинам. Ниже опускается небо, кажется, тяжесть серых многоярусных облаков давит на плечи. Наконец перевал. Его обозначили грудой камней, в середину которой воткнут шест. Ветер треплет на нем обрывки выцветшего флага.

Сверху открывается чудесный вид на море. Оно лежит внизу бескрайнее, все изборожденное белесыми морщинами волн. Шума его отсюда не слышно, и кажется оно Ко-

строву таким же молчаливым, как на глубине. Только кое-где на горизонте встают из воды косые дымки: это спешат, каждый в свою сторону, пароходы и корабли.

— Подивись, Олесь, — говорит Алена, — как хорошо видно мыс!

Причудливые очертания мыса отсюда разительно напоминают женщину.

— А ты знаешь, Алена, легенду про Спящую красавицу?

— Нет. Расскажи мне ее, Олесь.

— Жило когда-то на Черноморских берегах храброе племя амазонок. Тех самых, о которых писал Гомер в своей «Илиаде». Больше всего на свете любили девушки свободу. Засыпали — в изголовье клали мечи. И по очереди несли дозор па этом самом мысу. Но однажды приплыли сюда из Колхиды коварные греки на знаменитом корабле «Арго». Везли они в Элладу золотое руно и колдунью Медею, ту, что забыла родину, влюбившись в вождя аргонавтов Язона. Как проведали греки, что волны прибили корабль к непокорной земле амазонок, подступили они к Язону.

— Слушай, вождь, — говорят. — Иль не поровну мы рисковали в боях? Почему же назад возвращаемся нынче не с равной добычей? Ты с младою женой, мы лишь с завистью черной на сердце. Смело к берегу правь, там и нас ожидают прекрасные девы!

Отвечает Язон:

— Не гневите богов! Что задумали вы? Там могучее племя живет, а нас здесь — ничтожная горстка.

— Или больше нас было, — смутьяны кричат, — когда славу тебе добывали в смердящих болотах Колхиды? Кто тогда нам помóг? Отчего ж она снова помочь нам не хочет?

— Добиваетесь вы, чтобы женщина женский свой род предала? — чужеземка презрительно им говорит. — Что ж, ликуйте, мужи, оттого, что не женщина сердцем Медея!

Повернулась к востоку лицом, по плечам разметала волос водопад, небесам заклинанья свои прокричала. Солнце сразу прервало извечный свой путь, как прибитое, замерло в самом зените.

Напекло оно голову дозорной амазонке. Прилегла та на землю, под сенью кустов скоротать жаркий полдень, и сразу заснула. А коварные греки тем часом напали вне-

запно на немногих оставшихся в лагере дев. Ибо гордое племя охотилось в ближней степи, упражняясь в стрельбе из податливых луков.

Только вопли несчастных сестер, увозимых в неволю, пробудили дозорную вдруг. Подняла она тяжелую голову, взглянула на море и от страшного горя окаменела...

— Какая сумная легенда, — задумчиво произносит Алена. — Где ты ее прочитал?

— Нигде. Услышал от одного рыбака.

По другую сторону перевала хорошо виден Гранитный каньон — глубокая расщелина, как рваная рана, зияющая посреди лесного массива.

— В каньоне речушка течет, — рассказывает Алена,— Шайтан-су называется. Мелкая, но стремная — жуть! Ладонь сунешь, брызги во все стороны летят...

Под гору идти веселее. Рюкзак подталкивает Кострова в спину, то и дело сбивая его шаг на рысь. Впереди среди ветвей мелькает желтая Аленина шапочка.

Они не заметили, как тучи залатали в небе последние голубые прогалины. Спохватились только, когда горохом сыпанул на землю дождь.

— Надо ставить палатку! — крикнул Костров.

— Поставим на той стороне, там чудесная полянка! — откликнулась Алена.

Широкий мутный поток разрывает тропу. Он несется вскачь через валуны и коряги, образуя множество водоворотов и водопадиков.

— Надо переходить, — вздыхает Алена, разуваясь и закатывая выше колен спортивные брюки.

Раскачав за лямки, Костров перебрасывает на другой берег рюкзаки, затем свою и Аленину обувь.

— Погоди, Алена! — окликает он спутницу, но та уже ступила босой ногой на торчащий среди волн камень. Речка больно ударяет ее по щиколоткам, обдает брызгами и пеной.

Балансируя руками, Алена делает еще один шаг и вдруг валится навзничь. Поток подхватывает ее и, словно тряпичную куклу, тащит через валуны.

— Алена! — отчаянно кричит Костров, бросаясь в ледяную воду. Но ударом под колени речка сваливает и его. Он борется с нею, как с живым существом, поднимаясь и снова падая, больно ушибаясь, выплевывая песок и мусор.

— Алена! Алена! — не переставая зовет он.

Она подает голос откуда-то снизу. Ломая ногти, Костров выбирается на берег. Бежит вдоль потока туда, где среди водяных смерчей бьется желтая шапочка. Вода вновь сбивает его с ног, но, сделав отчаянный рывок, он подхватывает на руки обмякшее, почти безжизненное тело женщины.

Потом они долго лежат неподвижно на крохотном песчаном плесике. Алену трясет нервный озноб, у Кострова ноют все ребра, будто его протащили через бетономешалку.

— Поднимаемся, Алена, — очнувшись, тормошит он женщину. — Так и закоченеть недолго.

Она не отвечает. Тогда Костров на руках несет ее к месту, где лежат рюкзаки. Раздевает и закутывает в сухое одеяло. Накрыв ее сверху брезентом палатки, он, вынув топор, идет в чащобу за хворостом.

Вскоре возле речки весело потрескивает костерок. Развести его бывалому таежнику — дело не хитрое. Он укрывает огонь навесом из сучьев и сосновых лап. Тут же на распялках отчаянно парит подсыхающая одежда.

— Чуть не остался Олежка круглым сиротой, — невесело усмехается Алена, которую он привел в чувство двумя глотками спирта.

— Зато теперь долго будешь жить, — говорит Костров, вновь открывая пластмассовую фляжку. — На-ка, глотни еще разок.

— Фу, какое мицное зелье! — переводя дух, восклицает она.

— Зато никакая простуда не возьмет.

Они надевают теплую, пахнущую дымом одежду и подсаживаются поближе к костру.

Макушки гор пока еще освещены, а в каньоне уже сгущается темнота. Отблески костра мечутся по мокрому навесу, с которого падает в огонь шипящая капель. Монотонное шуршание дождевых струй перебивается плеском и шебаршанием потока.

Разомлевшая от жары и хмеля, Алена доверчиво прижимается щекой к плечу Кострова.

— Ты такой сильный, — ласково говорит она. — С тобой мне ничего не страшно...

— Ага, — рассеянно отвечает он, потрясенный мыслью о смещении времени. Все вдруг повторилось: и ночь, и костер, и река. И ему сейчас так же хорошо, как тогда...

— О чем ты задумался? — спрашивает Алена.

Костров глядит в ее расширившиеся, чуть затуманенные влагой зрачки, в которых колеблются крохотные язычки пламени. Глаза Алены придвигаются все ближе и ближе к его глазам, губы ее шепчут что-то бессвязное и радостное...

Из записок Кострова

Я сидел на чемоданах возле самого уреза воды. Волны хлюпали под щелястым настилом набережной, проплескивались между досками, брызгали на туфли.

Я смотрел на другую сторону бухты, где жались к причалам приплюснутые и узкие, как рыбины, подводные лодки. Издали они казались одинаковыми, голубыми, с белой вязью бортовых номеров.

Я смотрел и пытался угадать: которая-то из них моя?..

Плотников А. Н.

П39 Молчаливое море. Повесть. М., Воениздат, 1974.

162 с.

В повести «Молчаливое море» автор правдиво и художественио убедительио рисует иелегкий труд военных моряков. Главный герой повести командир подводной лодки Костров олицетворяет поколение офицерон, иа плечи которых легла высокая честь осваивать новейшую технику и оружие ракетоносных кораблей.

Повесть была удостоена в 1972 году литературной премии Министерства обороны СССР.

П $\frac{70302\text{-}211}{068(02)\text{-}74}$ 137-74

Р2

Александр Николаевич Плотников

МОЛЧАЛИВОЕ МОРЕ

Редактор *С. Бабинская*
Художник *Г. Нейштадт*
Художественный редактор *Е. Поляков*
Технический редактор *В. Бадаева* Корректор *А. Голева*

Г-52685. Сдано в набор 11.2.74 г. Подписано к печати 22.5.74 г.
Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$, $5^{1}/_{8}$ печ. л., 8,61 усл. печ. л., 8,916 уч.-изд. л.+
+1 вкл. $^{1}/_{16}$ печ. л., 0,106 усл. печ. л.
Бумага типографская № 1. Тираж 100.000 экз.
Изд. № 4/586. Цена 52 коп. Зак. 163

Воениздат
103160. Москва, К-160
Набрано в 1-й типографии Воениздата
103006, Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3
Отпечатано с матриц во 2-й типографии Воениздата
191065, Ленинград, Д-65, Дворцовая пл., 10

МОЛЧАЛИВОЕ МОРЕ

АЛЕКСАНДР
[illegible]